

Борис МАРКОВСКИЙ
«Я НАПИШУ ЕЩЕ ОДНУ СТРОКУ...»

Борис
МАРКОВСКИЙ

«Я НАПИШУ
ЕЩЕ ОДНУ СТРОКУ...»

избранное



СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
КОЛЛЕКЦИЯ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ

КАНАЛ 

Борис
МАРКОВСКИЙ

**«Я НАПИШУ
ЕЩЕ ОДНУ СТРОКУ...»**

избранное

КАЯЛА (Киев),
АЛЕТЕЙЯ (Санкт-Петербург),
2017

УДК 821.161.1(477)'06-1
М26

Марковский Б.

М26 «Я напишу еще одну строку...» — Киев: Каяла, СПб.: Алетейя, 2017, 392 с. — (Серия «Современная литература. Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 978-617-7390-59-5

ISBN 978-5-906980-31-1

В новую книгу Бориса Марковского вошли стихи, написанные в последние годы, проза, а также стихи и избранные переводы из четырех предыдущих книг, изданных в издательстве «Алетейя».

УДК 821.161.1(477)'06-1

© Б. Марковский, 2017

© Издательство «Каяла» (Киев), 2017

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017

«В трех шагах от снегопада...»

Несколько заметок

Одну из своих стихотворных книг Борис Марковский назвал «В трех шагах от снегопада»...

Хлопья падают так густо —
в трех шагах не видно сада...

Легкая, подвижная, почти воздушная стена, однако надежно таящая нечто: никогда не знаешь, что за ней откроется, что из-за нее появится.

Чернобородый мужик, Вожатый?

«Какой-то сторожки стена»?

Христос с вооруженным отрядом?..

Знакомый, значимый, знаковый образ русской поэзии.

У Бориса Марковского: «В трех шагах от снегопада» — «в трех шагах от горизонта». Снегопад отделяет видимую, известную часть жизни от невидимой и неведомой.

«В трех шагах от поражения», «в трех шагах от беды», но вместе: «Снегопад приводит в чувство, // он — как высшая награда».

«Белая мгла, черная дрожь снегопада» — память о злой зиме с глазами сумасшедших старух. Но вместе в промельке снегопада — «юность, молодость, искусство» и — память о матери, о снежном колдовстве детства.

В увлекательных точностью мысли и наблюдений заметках о поэзии Мандельштама («Черное солнце Мандельштама») Борис Марковский вспоминает слова Романа Якобсона о различии поэтического языка и языка «практического».

О поэзии Бориса Марковского трудно говорить «практическим» языком. На «практический» язык она непереводима, как всякая подлинная поэзия.

Тем более что стихи его эскизные, — не потому, что не завершены как целое, а потому, что — в своей цельности — стремятся передать ту текучесть, переменчивость, незавершенность мира (мира в себе и мира вокруг), каким он является нам в каждый данный момент нашего в нем обитания.

Снегопад не лепит, не ваяет образы мира. Он выявляет их, намечает, чтобы в следующую минуту что-то в них (и с ними — в нас) изменить.

«Строки стремительная ересь», «вихрь междометий, вихрь бессмысленных слов» не поддаются разговору о содержании и форме, об особенностях стихосложения и разработке темы.

Когда я читаю стихи Бориса Марковского, меня не оставляет чувство, что они, когда я читаю их, еще продолжают писаться.

Стихотворный цикл «Случайные строфы» — один из ключевых в поэзии Бориса Марковского.

Зима всю ночь рисует на стекле
фламандские тяжелые узоры...

Короткое, девять строк, стихотворение («случайная строфа») — зимний пейзаж, созданный кистью или (мое ощущение, видение) гравировальным резцом старых мастеров Северной Европы. Несколько штрихов — и перед нами (нет — в нас) является с детства носимая в душе и памяти, ставшая архетипической, картина города «серебряных коньков»: крутые заснеженные крыши, окованные льдом каналы, лодки, вмерзшие в лед, остановившаяся мельница... И тут же (опять-таки архетипическое) — что-то из Грига — «дремучие норвежские пейзажи»...

Но стихотворение разрешается сопряжением «двух разных алфавитов». В уголке рисунка, гравированного Мастером Зимой, вдруг странно рождаются — «слова на арамейском языке», которые Мастер Зима гравировал, «уже не помня, видимо, иврита».

Две заключительные строки тотчас ломают строгую выстроенность старой гравюры, заряжают стихи тревогой, устремляют их (точнее, опять же устремляют — нас) куда-то в сторону от прежнего зрительного ряда, может быть, вообще от зримой определенности образов («узоры», «пейзажи», «готические крыши» — и: «слова»), наполняют строфу иными, невысказанными смыслами, тем, что именуют — «непостижимыми Твоими судьбами».

О поэзии Бориса Марковского сказано было однажды, что «это поэзия смирения с судьбой, миром и веком»:

День прожит без труда и без труда забыт...

Но о каком смирении речь, когда следующая строка: «Как будто в мерзлый гроб последний гвоздь забит»? Когда

«в небе за окном колючая звезда // безмолвствует в ночи»?..» Когда стихотворение вершит обращенный к себе призыв забыть (никак не забывается!) всё то тревожащее, не дарующее покоя, чем полнится этот объявленный пустым, не стоящим запоминания день: навязчивый мотив, свет в ночи, колючую звезду?..

Образ звезды как вестника судьбы (и ока ее) постоянно возникает в поэзии Бориса Марковского.

Неслучайно, конечно.

Вот и к одной из своих книг поэт взял эпиграфом строку Арсения Тарковского: «Каких-то звезд бессмысленный глагол...»

Образ у Бориса Марковского почти всегда повторяем, но при этом замечательно многозначен. Смысл его определяется контекстом стихотворения, но, найденный, названный, он выявляет, уточняет смысл целого. Впрочем, речь, наверно, не только о контексте стихотворения, но — о контексте жизни, в стихотворении воссозданной (вновь созданной).

Утренняя звезда пробуждения вдохновения. И — утренняя звезда (тоже — утренняя), зовущая куда-то человека, уже итожащего жизнь на финишной прямой.

Шальная звезда (голубой лед), сияющая в какой-то неизмеримой дали и выси. И — шальная звезда, та, что совсем рядом, в нем самом, в поэте, его alter ego, страстная, горячая, она шепчет ему, требует, просит: «Начни всё сначала», соблазняет славой, богатством, любовью.

«Роняет свет высокий // вечерняя звезда». И — «железная звезда с лицом бурята иль монгола»... (Пророчество или предчувствие? — «Да, азиаты — мы, // С раскосыми и жадными очами».)

«Жизнь вывернута наизнанку». «Гримасничают зеркала». «С утра — метель, а к вечеру — пурга». «Окно замерзшее, трагический узор» (уже — не фламандский пейзаж). «Всю ночь звонят колокола». «Ветер с четырех сторон». «С ума сошла не только эта роща... я тоже медленно схожу с ума». «Стою себе, как обгоревший дом, // уже почти разрушенный ветрами... // Стою себе с обуглившимся ртом, угаданный бессмертными словами»...

А над тревожным, неустроенным миром (миром — вокруг, в себе) апокалиптический «Темный всадник сквозь звездное крошево // мчится вскачь от звезды до звезды»...

В стихотворении «Поэт» читаем: «и звезды строились в тюрьму».

Дано курсивом — цитата.

Строка принадлежит даровитому киевскому поэту, до срока (впрочем, кому ведомы сроки?) загубленному жизнью. Или — себя загубившему. (Как посмотреть.)

Цитата позволяет предположить, что стихотворение посвящено памяти ушедшего друга-поэта, что в образах его отзвучали реалии жизни и судьбы. Но посвящения нет, как нет в стихотворении никаких личностных черт, кроме этой цитаты. Цитата скрывает и вместе содержит и посвящение, и личность, сопрягает единичную судьбу поэта с той общей долей, поэтическую формулу которой запечатлел некогда узник Кюхельбекер: «Горька судьба поэтов всех племен; // Тяжеле всех судьба казнит Россию...»

Образ (облик) тюрьмы, сопутствующий судьбе поэта возникает и в восьмистишии — «А время старится, течет,

струится...» Стихотворению предпослан эпиграф из Пастернака («А время шло, и старилось, и глохло...») — похоже, будто заявлена творческая перекличка на весьма свойственном Пастернаку пути темы и вариаций. Но стихотворение неожиданно (характерное для нашего поэта соединение «двух алфавитов») поворачивает к очевидному отзвуку блоковской поэзии: «Тюрьма. Вокзал. Опять тюрьма. Больница»...

Сходные реминисценции в стихотворении «Не пи-
шешь, не пишешь, не пишешь...» — о неизбежном одиночест-
ве поэта (одинокий дом-тюрьма) и столь же неизбежной
причастности его поэтической вселенной:

Всё та же, всё та же морока,
вселенская хворь или хмарь —
кромешная музыка Блока,
аптека, брусчатка, фонарь.

Цитата — очень значимый элемент поэзии Бориса Марковского. Речь не о словесных включениях. Не только о них. Цитируются образы, ритм, звучание стиха, настрое-
ние. Осип Мандельштам писал в «Разговоре о Данте»: «Ци-
тата не есть выписка. Цитата есть цикада. Неумолкаемость
ей свойственна. Вцепившись в воздух, она его не отпуска-
ет». Поэзия — как природа: созданное поэзией принадле-
жит всем. Поэты щедро черпают из общего поэтического
хозяйства, переосмысливают, преображают почерпнутое, при-
нимают или отрицают его. Несмолкающая цикада не созда-
ет пространство, в воздухе которого звучит: она всякий раз
звучит по-своему в воздухе того пространства, в который
вцепилась. Стихотворение — всегда еще и разговор поэтов
между собой.

Мандельштам писал также, что образованность — это богатство ассоциаций. В богатстве ассоциаций являет себя и образованность поэтического таланта.

Талант Бориса Марковского привлекает замечательной образованностью.

Среди собеседников Бориса Марковского — лучшие поэты классического девятнадцатого века и те, более нам близкие (для моего поколения — старшие современники), чьё творчество стало вершиной недавнего двадцатого. Не называю имена: читатель найдет их в эпитафиях, угадает в откликах, отзвуках, в мотивах и мелодике стиха; более того, открывая книгу (и не только эту — любую книгу современного русского поэта), он уже держит в памяти их имена и строки, держит наготове, мерой совершенства, которой будет оценивать читаемое. (Борис Марковский о поэтическом труде: «в несбыточном плену у совершенства».)

Но тут же, рядом, — иной круг поэтических друзей: их имена, стихи не на слуху, не в памяти, они открываются у Бориса Марковского в переключках и отсылках, уточняются в прозаических заметках и примечаниях, Борис Марковский с настойчивым постоянством утверждает свою к этому кругу причастность.

Названный круг — застолье киевской поэтической богемы 1960–1970-х годов: такая возникала — не могла не возникнуть — параллельно и вопреки официальной (официозной) литературной среде, в творчестве и поведении естественно и «назло» противопоставляя себя ей. Как правило, под тяжестью того, что Пушкин именовал силой вещей,

и, уступая несоответствию своего духовного и душевного устройства обстоятельствам времени, места и образа действий, люди этого круга в поэзии не заживались, да и вообще не заживались.

Друзья, прошу, не исчезайте,
не уходите насовсем,
стихи печальные читайте
или отрывки из поэм
и говорите, говорите
ночь напролет, пока звезда...
Но только сердце мне не рвите,
не уходите навсегда...

Борис Марковский воспринимает уход этого круга поэтов, как исчезновение значимого поэтического поколения, творчество которого, пусть мало замеченное или вовсе незамеченное, подчас не принимаемое всерьез, по-своему, прямо или опосредовано отразилось на дальнейшей нашей литературной работе. Литература, как известно, развивается не только (и не столько) в громко прозвучавших (тем более — громко озвучиваемых) своих созданиях.

Образ Поэзии у Бориса Марковского — Древо Жизни, посаженное Богом посреди рая: вкусивший от плода его обретает жизнь вечную. Это — не бессмертье славы, а бессмертье слова, нескончаемость дарованного человеку поэтического вдохновения, вдохнутого в человека поэтического дара.

Искусства разветвленный ствол,
невидимых корней могучее родство.
Я — крайний лист на самой крайней ветке,
и кровь моя принадлежит листе.
Со мной в родстве бесчисленные предки,
и те, кто будет жить — со мной в родстве.
И смерть моя — умрет одно лишь имя
мое — и жизнь принадлежат не мне,
но тем, другим, — да будет свет над ними! —
сгорающим в божественном огне.

В этом десятистрочии всё сказано замечательно глубоко и точно.

Точно определено и собственное место где-то на крайних ветвях могучего поэтического древа.

Дело — не в скромности автора, которая, конечно же, внушает уважение.

(Впрочем, всякая ныне устанавливаемая табель о рангах так же несовершенна, как бессмысленна привычная надежда на будущую «справедливость».)

Дело — в утверждении равноправия каждого листа в отношении к целому.

В утверждении своей причастности к общему (вне зависимости от того, как ощущаешь свое «географическое», «геометрическое» положение в этом общем мире).

Это очень существенно и много — произнести: и кровь моя принадлежит листе.

Сознавать и чувствовать, что не только ты вбираешь соки Древа Жизни, но и отдаешь ему себя. Что оно без тебя так же неполно и несовершенно, как ты без него.

(Здесь уже не до примечаний о похвальной скромности — иной ряд понятий.)

«Крайний лист на самой крайней ветке», но это не значимо, когда осознаешь или чувствуешь бесконечность Листвы в пространстве и во времени.

А что часто видишь, слышишь себя «незадачливых слов бормотателем», что еще чаще и вовсе страдаешь оттого, что «не пишешь, не пишешь, не пишешь», то не известно, есть ли что иное в жизни Поэта, как не бормотать стихи и страдать, когда они (говоря пушкинским словом) не идут.

*Владимир Порудоминский,
Кёльн, 2014 г.*

I

ПОЭЗИЯ

*Я напишу еще одну строку,
переверну еще одну страницу,
пересеку еще одну страну,
перечеркну еще одну границу*

*и женщину последнюю, одну
из тех, кого любил, навек покину,
вернусь домой и прокляну чужбину,
и наконец услышу тишину.*

**ИЗ СБОРНИКА
«В ТРЕХ ШАГАХ ОТ СНЕГОПАДА»**

Случайные строфы

1

Зима всю ночь рисует на стекле
фламандские тяжелые узоры,
дремучие норвежские пейзажи,
суровые готические крыши,
украшенные инеем и даже
порою пишет вязью в уголке,
объединив два разных алфавита,
слова на арамейском языке,
уже не помня, видимо, иврита.

Нам не хватает фауны и флоры
в фарфоровом от снега феврале,
их заменяют карты, разговоры,
тяжелые муаровые шторы,
на ум приходят (дело в рифме) шпоры
или поездки к морю в «Шевроле»...

Здесь повсюду глыбы льда...
Спите, звери Зодиака,
вам нельзя входить сюда.
Знаю, Тигр или Собака
мне не причинят вреда.

Жизнь, казалось, никогда
не закончится, однако
в небе дрогнула звезда
где-то там, в созвездье Рака,
и исчезла навсегда...

Ветер. Снег. Светло и пусто.
Никого. Один. Так надо.
Юность, молодость, искусство,
всё — лишь промельк снегопада.

Хлопья падают так густо —
в трех шагах не видно сада...
Помнишь, у Марселя Пруста?
Или — у маркиза Сада?¹

Снегопад приводит в чувство,
он — как высшая награда...
Вполнакала светит люстра
в трех шагах от снегопада.

¹ Абсолютно согласен с мнением критика Л., выступившего в защиту маркиза де Сада в том смысле, что ежели маркиз, то обязательно *де*, а ежели без *де*, то какой же он к чёрту маркиз.

Ветер. Ночь. Забор. Качели.
Снег. Чугунная ограда.
Я стою почти у цели —
в трех шагах от снегопада.

Лампа светит еле-еле,
гаснет без предупреждения...
Я стою почти у цели —
в трех шагах от поражения.

На стене — фарфор из Гжели,
сувениры из Торонто...
Я стою почти у цели —
в трех шагах от горизонта.

Поэты

1

Эмилю Голубу

Увы, никто не позовет,
как некогда сказал Мицкевич
у стен печальных Аккермана.

Ты прав, таинственный бездельник:
друзья разбросаны по свету,
их нет, они как сон пустой...

А это кто? Шагает прямо,
хотя с утра с портвейном спорит —
прямой потомок Мандельштама...

Стишок трагический чирикнул
и скрылся в розовом тумане
поэт, известный всей округе...

Из подворотни знак масонский
мне подает какой-то щёголь —
еврейский нос, язык как шпага,
на Мефистофеля похож.

За ним — кудрявый Илличевский
стихи волнистые читает...

2

Друзья, прошу, не исчезайте,
не уходите насовсем,
стихи печальные читайте
или отрывки из поэм
и говорите, говорите
ночь напролет, пока звезда...
Но только сердце мне не рвите,
не уходите навсегда.

3

Иерархические бредни.
Приморский город. Кавардак.
Магнолии... Поэт в передней
снимает клетчатый пиджак
и хриплым голосом читает
стихи о дружбе, о любви...
О как мне всех вас не хватает,
друзья далекие мои!..

4

Игорю Павлову

Ветхозаветная картина.
Почти библейская луна...
Жизнь, смерть, поэзию до дна
пьет из летецкого кувшина
библейский старец у окна.

Стансы

I

Сентябрь сгорел наполовину,
уже мерещится февраль...
Пока небесная эмаль...
Пишу письмо калмыку-финну,
рифмую слезы и слова.
Не вы ль? Увы, не вы... Нева
в гранитный берег бьет волной,
и Днепр широкий в дымке тает...
Листок летит над головой —
куда, зачем? — никто не знает.

II

Казалось, жизнь давно прошла.
Листва поблекла, облетела...
Три ивы, чахлая ветла,
но мне-то, мне какое дело
(как говорил один пиит)
до госпитальных этих плит,
до этих плакальщиц-берез,
до сумасшедших этих сосен...
Листву последнюю мороз
скосил, а я-то думал: осень.

III

Увы, не пастырь, не пастух...
Зачем, седобородый мальчик,
в кругу кладбищенских старух
сидишь, один?.. Айда в подвальчик!
там наливают... раз-два-три...
повсюду мраморные жилки,
горит окошечко внутри,
торчат железные опилки,
горчит вино, и карамель
во рту... Февраль?.. Или апрель?

IV

Я так скажу, лицом суров:
вам нужен флаг, мне нужен кров!
Я помню сумрачное лето —
смесь Боттичелли и Ватто
(спасибо, Господи, за то,
что подарил мне столько света!)
и мрачный деревенский дом,
где муравьи, как самураи,
ползли сквозь влажный бурелом
вдоль бревен дряхлого сарая.

V

Еще не там, уже не здесь,
еще нигде, уже повсюду,

как этот клен полураздет,
клянусь: я был, я есмь, я буду!
Мне кажется, я был всегда...
Опять железная звезда
с лицом бурята иль монгола
взойдет над жертвенной Землей,
чтоб пасть на города и сёла,
покрыть их царственной золой.

* * *

Три окна, четыре стены,
впрочем, горы всегда видны

сквозь узоры зеленых крон,
так как горы со всех сторон

окружают кирпичный дом,
где веранду сковало льдом,

где повсюду твои следы,
где живу в трех шагах от беды.

* * *

Похоже, осень за окном...
Поэт, один, в пространстве комнат
(его никто уже не помнит)
сидит за письменным столом,
глядит на меркнущий закат,
перебирает письма, даты,
бормочет: «Все мы виноваты...
никто, никто не виноват...»

* * *

Феликсу Чечик

Дни бегут — не сберечь их!
Ерунда, пустяки...
Из Израиля Чечик
присылает стихи.

В них — высокая горечь,
торжество мастерства...
Не пойму одного лишь —
для чего в них слова.

Ночь приходит, как плаха.
Вот опять Новый год...
Фугалевич, Галаха,
Мама-Жанна и Кот...

Помнишь, ночью в «Пассаже»
пили горький ликер?
Как-то вспомнился даже
пионерский костер.

Ничего не успели,
жизнь прошла, как в кино...
Вот и всё, друг мой Феликс,
впрочем, мне все равно.

* * *

Каллиграфическая осень...
Похоже на какой-то праздник.
Как будто некий дирижер
взмахнул рукой, и закружились
деревьев белые манжеты...
Повсюду флаги и цветы.
Узорчатые тротуары,
и подворотни в дымке серой,
как на старинном фотоснимке...
Прощальные анжамбеманы...
Деревьев траур золотой.

* * *

Неразбериха на столе...
А ведь когда-то петь умела
душа, — ты помнишь: *в феврале...*
мело, мело... во все пределы...
И зябко делалось плечам...
Увы, не рифмы составные,
а чьи-то челюсти вставные
теперь скрежещут по ночам...
Темно и страшно на земле.
В душе опять неразбериха.
И если повторять, то тихо:
«Мело весь месяц в феврале...»

* * *

Еще не сказанное слово
слезами душу тяжелит.
Уже сорваться с губ готово,
уже перу принадлежит.

Уже витийствует, пророчит,
бормочет что-то про успех
и выжить хочет, выжить хочет,
чтоб плакать на виду у всех.

Семья Марковских

I

Семья Марковских в полном сборе
сидит за праздничным столом.
Всё в серебре и мельхиоре,
и ёлка блещет серебром.

Всё в серебре, — скажи на милость! —
на тонких ниточках шары,
как будто детство возвратилось
в квартиру девочки-сестры.

И вот, красивый и безгрешный,
под новогодний смех и шум
с какой-то радостью нездешней
встает задумчивый Наум.

Он говорит, ему внимают,
все аплодируют ему,
и всё плохое отступает
в недостижимую тьму.

II

Матери

Платье лимонное из крепдешина...
Помнишь, бывало, и ты наряжалась?
В зеркале таяла и отражалась,
утром опять на работу спешила.

Всё перепуталось, перемешалось,
детство пропахло твоими руками.
Помнишь, как море сияло над нами,
всё в серебре, как оно поднималось?

Вспыхнет черешня на грешной ладони,
вновь заблужусь в твоём ласковом взгляде,
столько вместившем, умру на перроне —
не умирай, как тогда в Ленинграде.

Вечно живи в довоенной квартире!
Свет твоих глаз да пребудет со мною
в этом огромном безжалостном мире,
в памяти, не опаленной войною.

III

Осень, отстань! Сатанинская щедрость листвы,
мне враждебны твои бесшабашные узкие ласки.
Не сносить головы! Я от лиц и от улиц отвык,
и от птиц, и от веток, и от ветра, что скомкал все краски.

Над коляской волхвы. Снизошла на тебя благодать.
Мать, что небом прикинулась. Небо, коляска, дорога...
Не поднять головы! Я не стану по птицам гадать,
отшатнусь от зрачков сумасшедшего этого Бога.

Нас листва оплела вперемежку с огнями реклам,
время корчит нам рожи, мы — тоже, отважные маски.
То ли я не живу, то ли время мне не по зубам,
то ли замерло всё в ожидании близкой развязки.

Эта осень меня, как по лестнице, сводит с ума.
Ах, отстань, отстрани, отодвинь свои тайные знаки.
Это — светлая осень!.. За осенью хлынет зима,
приготовьтесь к ее молчаливой и страшной атаке!

IV. СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ

Матери

Легка на помине, как солнечный луч на поляне,
как пляшущий полдень, как полдник в высокой траве,
как скрипка кузнечика, как из-за леса — цыгане,
как память о детстве, о снежном его колдовстве.

Осталось не много: осталось спокойное эхо.
Ни дома, ни сада, ни пепла...

Лишь память о том,
как долго звучат колокольчики детского смеха,
когда молчаливый отец возвращается в дом.

V

Брату

Брат мой, куда ты? Там плотный, как ватман, туман!
Там горизонт обезглавлен, там эхо безгласно...
Брат мой, куда ты? Опомнись! Пора по домам!
Эта дорога печальна, пуста и опасна.

Твои сильные плечи, школяр, непоседа, герой,
твое хрупкое сердце не выдержат этого бега...
Но тебе наплевать!.. Очарованный жуткой игрой,
ты уходишь... один... даже смерть для тебя не помеха.

VI

Вот и двери состарились, и обносились портьеры
в этом доме старинном, где столько просыпалось лет,
где в прихожей колеблется свет, то пурпурово-серый,
то, как свет от звезды, то, как солнца замедленный свет;

в этом доме старинном, где дует из окон, где фразу
от простуженных кресел сквозняк вдруг унес в коридор,
чтобы там заблудиться в пространстве из пауз, и сразу
возвратиться на место, поскольку — таков уговор;

в этом доме мы встретимся вновь через пару столетий,
через несколько дней или лет, или даже минут,
чтоб уже никогда не забыть этот вихрь междометий,
вихрь бессмысленных слов, что уже никогда не умрут.

VII

Отцу

На задворках Европы, в крестьянской глуши,
на высоком холме — за чужие гроши —
ты оставлен лежать навсегда в феврале
в неподатливой, жесткой и мерзлой земле.
Над тобою, как прежде, плывут облака.
Сон глубок, и могила твоя глубока.

1.02.1995

VIII

Дочери

Неподалеку — кладбище. На холм
взбираюсь часто к сумрачной могиле,
где спит отец; на ней три кипариса
посажены заботливой рукой...
Так и живем в печальном захолустье:
я целый день читаю детективы,
перевожу на русский Гёльдерлина
и у тебя учусь невнятным фразам:
*Entschuldigung, ich habe eine Frage...*¹
А ты уже щебечешь по-немецки,
приносишь в дневнике одни «пятерки»
и забываешь русский понемногу...
Лишь я твержу на память, как безумный,
обрывки строк, где слово *смерть* мелькает
так часто, что мне кажется порой:
я мертв давно, и ты мне только снишься.

¹ Прошу прощения, у меня вопрос. (нем.)

IX

И если память мне не изменяет,
я счастлив был лишь в детстве. Это значит:
жизнь близится к концу.

С ума сошла не только эта роща
со вздыбленными волосами,
охапки листьев прячущая в снег, —
я тоже медленно схожу с ума,
хотя и выгляжу вполне счастливым...
Как прежде подхожу к календарю
и день за днем беспечно отрываю.

Х

Когда уходят те, кого мы любим,
в последний путь, откуда нет возврата,
в последний путь к последнему пределу,
как черный бархат, раздвигая тьму, —
их сразу потускневшие портреты,
как сквозь туман, прекрасными глазами
глядят на нас, но нас уже не видят,
как будто мы для них не существуем...
Еще звучат бессмысленные речи,
еще слышны надгробные молитвы,
еще мы помним, как звучал их голос,
а их уж нет поблизости...

Под плеск
печальный вёсел, быстрая ладья
их вдаль относит...

**ИЗ СБОРНИКА
«ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ»**

* * *

День прожит без труда и без труда забыт,
как будто в мерзлый гроб последний гвоздь забит,
как будто осень, выходя из просек,
у голых веток подаянья просит.
Как мертвый стих, написанный вчерне,
он требует любви, которой нет во мне.
Лишь на столе свеча всю ночь горит.
День прожит без труда и без труда забыт.
Лишь в небе за окном колючая звезда
безмолвствует в ночи. День прожит без труда
и без труда забыт... Забудь и ты, дружок,
навязчивый мотив, пастушеский рожок,
далекий тихий свет, колеблемый в ночи,
колючую звезду и тусклый свет свечи.

В конце пути

1

Раздарил, растерял, не сберег:
Пастернак, Цветаева, Блок.

И Камозэнса пасмурный лик —
сколько было вас, избранных книг?

Как в ущелье разбойничье эхо,
затерялся и канул Вальехо.

Вот еще один свежий шрам —
это гордый ушел Мандельштам.

Изумрудные хокку Басё.
Больше нет ничего. Это — всё.

2

Вдруг — тихий голос, шелест крыл
и слог божественной чеканки:
со мной всю ночь проговорил
владелец сломанной шарманки¹.

¹ Александр Цыбулевский «Владелец шарманки».

Вернитесь, — я кричал, — куда вы?
Кричал, не сдерживая слез...
Предсмертный хрип Акутагавы,
вращение его «колёс»¹.

¹ Акутагава Рюноскэ «Зубчатые колеса».

* * *

...Как прежде б крикнуть: «А-музги!
О Амузги...» — в наплыв тумана.

А. Цыбулевский

Разве ты — настоящий писатель?
Что молчишь, иль язык проглотил,
незадачливых слов бормотатель,
заклинатель змеиных чернил?

Все дудишь в деревянную дудку...
Брызги слов. Но не видно ни зги, —
разве можно доверить рассудку
этот крик сквозь туман: «А-музги!»

Кафе «Мороженое»

Уже во тьме не различаю лиц.
Причуды памяти... Воскресный вечер.
Всё, как в тумане — чашки на столе,
и толпы любознательных прохожих,
спешащие в кино и из кино.
Глаза друзей повернутые внутрь.
Мне некуда спешить. Неяркий свет
чуть освещает мертвое пространство,
где, прислонившись к телефонной будке,
стою, прислушиваясь к голосам,
и ничего не жду — ни от себя,
ни от других...

* * *

Снова снег заслонил тишину,
и сугробы растут, как грибы.
Стоит кресло придвинуть к окну —
и уже не уйти от судьбы.

Он идет, как безумный кентавр,
по заснеженным мертвым холмам;
вот он входит в соседний квартал,
подступая к замерзшим домам.

И в его неподвижных зрачках
я не вижу уже ничего
кроме страха господнего... страх...
Только страх за себя самого.

* * *

Мне больше не нужны слова,
они мне сердце рвут на части...

Договорились — в два.
Пришла в три с четвертью...

О счастье
уже давно не думаю, мне жизнь
наскучила, как фильм бездарный.

«Держись, — шепчу себе, — держись...
за тонкий листик календарный!»

* * *

Что за постыдная морока —
торчать весь день в пыли гардин?
Отсюда путь один — в Марокко
или — в растлительный Берлин.

Гора невымытой посуды,
на дне бокала — кубик льда...
Не умереть бы от простуды
или — от боли и стыда.

* * *

Не поможет ни райское пение,
ни курортное грязелечение,
ни тоскливое столоверчение,
всё уже не имеет значения —
вещуны, колдуны, хироманты,
раз в неделю — тибетские мантры,
Кашпировский, Мессия, Майтрейя...
Лишь в Евангелии от Матфея,
как подсказка — шестнадцатый стих:
«по плодам их узнаете их».

* * *

«Не пинешь, не пинешь, не пинешь...»
О чем же тебе написать?..
О том ли, что ветер над крышей
листву заставляет летать?

О том ли, как мне одиноко
в неприбранном доме-тюрьме?..
Ты помнишь, у раннего Блока,
а может быть, у Малларме?

Всё та же, всё та же морока,
вселенская хворь или хмарь —
крошечная музыка Блока,
аптека, брусчатка, фонарь...

* * *

Подарил колечко —
больше ничего...
Спит под снегом речка
в ночь под Рождество.

В печке ўгли тлеют,
за окошком снег...
Он один согреет,
он один — для всех.

* * *

Снегопад, снегопад...
Над прохожими, над домами,
будто кто-то, невидимый нами,
красит в белое крыши и сад.

Кто просыпал на нас конфетти?
Осторожнее, не спугните
этот снег, что сошел, как наитие
лишь затем, чтобы снова уйти.

Это — в розовом шарфе февраль
на своем суматошном концерте,
где звучит одинокий рояль,
говорит о любви и о смерти.

**ИЗ СБОРНИКА
«ВРЕМЕНА ГОДА»**

Пути себе расчистив,
На жизнь мою с холма
Сквозь желтый ужас листьев
Уставилась зима.

Б.Пастернак

* * *

Листая страницы
давным-давно прочитанных книг,
не вспоминал ли ты
о далеких и теплых морях?
О кораблекрушениях?..
Вспоминал?
Я тоже.
Желтые корешки
давным-давно прочитанных книг,
как последняя улыбка детства,
как прощальный привет,
как напутственное слово:
«Иди!»

* * *

Я у дороги выпрошу прощенье,
прости, я не пошел, куда звала.
Все не давали вырваться дела,
не отпускали цепкие сомненья.

Но я уйду, оставлю все, как есть,
куда ведёшь, не ведая, но зная:
куда б ни привела — не нужно рая,
спасибо, что вела... Сквозь ночь,
сквозь лес,

сквозь крик совы в лесу моих сомнений,
сквозь повторенья, мимо, наугад...
Я у дороги попрошу прощенья!
Я ухожу, я не вернусь назад.

* * *

Учусь, беру уроки
у дятла, у сороки,
учусь у пня седого
и у ручья лесного.

Учусь у опушек, лужаек,
приглядываюсь к перелескам,
с каким-то иным интересом
себя в тишину погружаю.

Гоняюсь за сквозняками,
не дожидаясь сдачи.
Мир повернулся иначе:
дверь говорит стихами.

Или — плывут из окон
высокие звуки клавиш...
Мелодии маленький краешек —
будто губами потрогал.

Но если спросят: «О чём
вы пишете?» — что ответить?
О чем говорит ветер
вон там, у дороги, с кустом?

* * *

Эти давние запахи,
эти губы припухшие,
и упавшие запонки,
как у древних — оружие.

И метель, что за окнами
обрастает сугробами.
Приоткрылись и дрогнули
ваши губы: «Попробуем...»

Ну давайте попробуем,
всё, что было — забудется.
Голубыми сугробами
пусть уляжется улица.

Пусть навалится мамонтом
ночь немыслимо нежная...
Все равно мы обмануты,
все равно без надежды мы.

И свеча догоревшая,
и вино недопитое...
Вы красивая, прежняя,
только больно, обидно вам.

Только слезы ненужные
по щекам вашим катятся,
две большие жемчужины —
или мне только кажется,

или снится мне всё это:
ваших губ очертания,
ваши дивные волосы,
ваше злое отчаянье.

Позабытые запахи,
дорогие, ненужные,
и упавшие запонки —
две большие жемчужины.

* * *

Вот, кажется, осилил ремесло.
Никто не застрахован от ошибок.
Живу без отличительных нашивок,
в карманах пусто, на душе светло.

Вот, кажется, и молодость прошла...
Чего же им, проклятым, не хватает,
моим стихам, что словно свечи тают,
едва их убираю со стола?

* * *

Я поселю тебя в стихотворенье,
здесь будет всё не так, как у людей.
Ты улыбнешься выдумке моей,
напомнишь мне о вечности, о тленьи

и скажешь так, задумчиво тиха:
«Ну что ж, квартирный разрешен вопрос.
Да, я согласна жить в твоих стихах...
Вот только мы опять без папирос».

* * *

Давно так плодотворно не молчалось.
Уж, думал, не отважусь, а пришлось...
Как старый плащ, отброшенная злость,
да за полночь стихи, казалось, малость,
да крепкий чай, да запоздалый гость...
Ах, если бы и ты тогда осталась!

* * *

Прощай, распатанный покой.
Пока, как окрик за трамваем,
пока, как всплеск волны скупой,
мимо копеечного рая,

мимо простуженной листвы —
как кисти рук скрестятся ветки,
сомкнутся каменные львы,
сойдутся лестничные клетки...

Калитки скомканная тень,
листвы споткнувшейся смущенье,
и я, как чье-то порученье,
вычеркиваю новый день.

* * *

Две параллельные прямые,
из детства в будущее след.
Пятнадцать пролетело лет
с тех пор, как мы лыжню прямими.

Случайно купленный билет
не вы ль, случайно, обронили?
Две параллельные прямые.
Снежинок тоненький балет.

* * *

У судьбы неразборчивый почерк,
и попробуй поди разбери,
черт ли с ведьмой в камине хохочет,
то ли это проделки зари,

то ли это сентябрь за холмами
куролесит всю ночь напролет,
то ли просто пришли за стихами
и в оконный стучат переплет.

* * *

Здравствуй, юность моя безоглядная!
Снегу, снегу-то намело...
Жизнь свою достаю и разглядываю,
как последний пятак на метро.

* * *

Олененок, свирель, Алиё!
Оглянусь — никого, только — имя...
Посмотрела глазами моими,
так уже не глядят на земле.
Та же черная, черная бровь,
та же дерзкая кровь, те же складки
возле рта, тот же взгляд — кровь за кровь! —
мы еще наиграемся в прятки.
Мы еще повоюем с тобой.
Ты забудешь свою осторожность,
станешь мне путеводной звездой,
а иначе — зачем я художник?
И одна по плохой мостовой
под янтарным дождем, как в тумане,
ты еще побредешь, ангел мой,
вдаль за вереском воспоминаний.

* * *

Строки стремительная ересь,
фоном пугающая вязь,
скажи, откуда ты взялась,
в какой тоске удостоверюсь
и с временем нарушив связь?

Скажи, откуда ты пришла,
руки язвительная сила?
Два берега соединила,
а оказалось: два крыла.

Два берега, две борозды,
два сердца, два стихотворенья...
Девятым валом вдохновенья
взлетев до утренней звезды.

* * *

Опять один, как ветер в поле...
Как в продуктовый магазин,
вдруг забреду к Марине Доле,
когда накатывает сплин.

В дому царит неразбериха,
и две собаки — на софе,
всё это отразилось лихо
в ее неряшливой строфе.

Гитары жертвенные звуки
и будто бы исподтишка,
в двух миллиметрах от разлуки
бежит по клавишам рука...

И что́ ей чей-то профиль важный,
пожатие чужой руки.
Неразбериха. Сор бумажный.
Черновики... черновики.

* * *

Подожди, слова придут потом.
Нежность — удивительное слово.
Слишком поздно пересохшим ртом
«Я люблю тебя», — шепчу я снова.

Слишком поздно встретила ты мне.
Вот стою и вижу, как в тумане:
то ли свет горит в твоём окне,
то ли это — свет воспоминаний.

* * *

Прохладный белый звонкий лист
Бумаги,
В нем только что переплелись
Ручьи, овраги,

И чьи-то руки, и стихи,
И чьи-то встречи,
Как ласточки из-под стрехи —
Из русской речи.

И этот город за окном,
И сон окраин,
Где каждый камень мне знаком,
Где каждый камень,

Где каждый придорожный куст,
Предвидя старость,
Готов произнести строку,
Чтоб та осталась.

* * *

Оттолкнусь от поручней рукой,
пропущу грохочущий состав
и замру у старого моста,
выпрямившегося над рекой.

Жизнь — испепеляющий костер.
Но сгорая, падая, любя,
я как в храм, как в дымчатый костел
и как в музыку вступал в тебя.

...Где над головами прихожан
в сокрушительной, как вихрь, тоске
изъясняется с толпой орган
на неведомом ей языке.

Маяковский

Отрывок

Смотрю на портрет: высок, скуласт,
громадная рана рта...
Поэт? Художник? Скорее — гимнаст,
прыгающий с моста.

Жду. Уверен: заговорит,
сбросит с себя медь,
он, одолевший столько рифм,
а тут — какая-то смерть.

И вот, отодвинув ногою стул,
перечеркнув коридор,
помедлив немного, он такое загнул,
слушаю до сих пор:

— Здорово, братец! Никак поэт?
Куришь? Вот это да!
Тепло-то как, а в моей дыре
адские холода.

Чего молчишь? Или вовсе нем?
Любовью ль серьезно болен?
Меня не бойся — людей не ем,
поэтов тем более.

Я тоже любил
и тоже сидел без гроша,
любил до дрожи,
до жуткой истерики губ.
К ее нервным шагам
приноравливал
свой торопливый шаг
и считал себя
в неоплатном
за это долгу.

К другим был строг,
в том числе и к себе,
но к ней...
Но к ней тянулся
неуклюжими
щупальцами строк,
не жалея ни горла,
ни глаз,
ни души,
ни локтей.

Я любил ее так,
как уже не способен любить этот век,
я любил ее, как Октябрь
и как все грядущие октябри...
Разве может выдержать это один человек?
Вот и расстались
в апреле
мы с Лилей Брик...

Асфальт

Асфальт полосатый, как зебра, печальный и серый
асфальт лежит под моими ногами — в окурках,
плевках, поцелуях, заплаканный серый асфальт.

Куда-то торопятся люди, похожие на осьминогов,
на дятлов, тюленей и прочих известных
науке животных, но больше всего —
на людей, спешащих по важному делу.

По важному делу! Я тоже по спешному делу иду,
листая дома и кварталы, по важному,
спешному делу, по делу, по делу, по делу...

А небо похоже на купол огромного светлого цирка,
оно в облаках, как в сметане, оно, как большое окно...

(Я знаю, что небо — лишь небо, что ветер — лишь ветер,
не больше.)

Гуськом, словно гуси, трамваи ползут по наскучившим
рельсам, и каждый имеет свой номер,
свое назначение, маршрут.

А я не имею маршрута, и цель исчезает в тумане,
густом и прохладном, как пиво, но я тороплюсь,
я ведь тоже иду по какому-то делу, по важному
спешному делу, по делу, по делу, по делу...

Улицы

I

Я люблю бродить по старым улицам,
люблю смотреть на дряхлые домики
с перекосившимися глазницами окон,
на неровные заборы, игрушечные калитки
и одинокие вывески всегда пустых магазинов.
Я люблю эту тихую часть города,
где нет тротуаров, где люди и дома
живут какой-то своей, таинственной жизнью
и где невольно вспоминается
все, когда-либо слышанное о чудесном и загадочном.

II

Был в Амстердаме и не зашел в музей Ван Гога.
Зато посетил Красный квартал.
Накрапывал дождь.
Девушки отсыпались после ночи,
некоторые завтракали.
Я долго кружил по узким улочкам,
рассматривая их через стекло,
как мертвых бабочек в музее природоведения.

* * *

Спасибо, что не пришла,
спасибо, что разлюбила,
спасибо, что письма сожгла —
спасибо, что не забыла.

Спасибо, что ты была,
за боль и за радость спасибо...
Но пряди отбросив со лба,
ты в комнатах свет погасила.

И в узких своих сапогах,
прижав к подбородку колени,
сидишь с папиросой в зубах
и ждешь, чтоб тебя пожалели.

* * *

Жизнь проходит за разговорами.
Разбазариваем себя.
Снова осень идет по городу
легкой поступью сентября.

Мы не тех, кого надо встречаем,
нас укачивает судьба.
Напой меня, мама, чаем —
я смертельно устал от себя.

Это скоро выступят зонтики,
это сумерки сентября,
это мы сумасшедшие зодчие
разбазариваем себя.

* * *

Вот и некуда стало идти,
не с кем слова промолвить.
Что ж ты стал посредине пути?
До середины дошёл ведь.

Что ж ты замер с тоскою в глазах,
с нежным грузом в груди — оттого ли,
что в душе твоей вечность и страх?
Сотни клятв — только грезишь о воле...

* * *

Нам остается только старость.
О молодости не скорбя,
всё чаще мы приходим в ярость,
увидев в зеркале себя.

Всё чаще, недовольным взглядом
отмерив предстоящий путь,
нащупываем склянку с ядом,
чтобы навеки отдохнуть.

И если жизнь — лишь сон, который
нам снится в пасмурную ночь,
не лучше ли отдернуть шторы
и тяжкий сон свой превозмочь?

Времена года

1

Подслушать исповедь сверчка,
исподтишка нарвать сирени
и написать стихотворенье
опять про белого бычка.

2

Капризы осени, пирог
с грибами, горечь поражения...
И лист преподает урок
искусства самовыраженья.

3

Спешит состариться декабрь,
и ждет гостей на новоселье
лес, неподвижный, как дикарь,
подкрадывающийся к цели.

4

Дома продрогли до квартир,
до крыш, до крошечных заслонок,
но все слышней — едва с пеленок —
капли солнечный пунктир.

* * *

Мой доверчивый палисад,
разговорчивый мой подоконник,
может впрямь всё, что я написал
не нуждается в посторонних?

Пусть пишу не так, не о том,
что с того, мы ведь не на параде...
Я-то знаю, каким трудом
достаются эти тетради.

Не тревожься, моя душа!
Нам ли думать с тобой о славе?
Только как это — не дышать?
Только кто же меня заставит?

* * *

А. А.

Я твоей тоски не понимаю,
только слышу, слышу каждый день:
зацветет в последних числах мая
под окном душистая сирень.
И припомнится проклятый остров,
где погибло столько кораблей...
Души мореплавателей воском
исцелял отважный Одиссей,
чтобы слабых духом не смущали
песни похитительниц-сирен...

— Что молчишь? Что горбишься в печали?
Ничего не дам тебе взамен.

Берег

1

Улыбнись — жизнь ушла безвозвратно.
Чуть помедли над тихой рекой.
Посмотри: разноцветные пятна
загораются сами собой.

Эта ночь, как и ты — ниоткуда.
Этот млечный, чуть брезжащий свет
от звезды — разве это не чудо?
Через тысячи, тысячи лет.

2

И нежность в сердце утвердилась.
Откуда этот легкий шум?
Душа ль от тела отделилась?
Освободилась ли от дум?

Или нетрезвою походкой
уходит к западу луна?
Под перевернутою лодкой
песок, покой и тишина.

* * *

Никаких украшений:
вензелей, позолот,
красота — неужели
только кровь,
только пот?

Неужели — так надо
и иначе — нельзя,
чтобы ткань снегопада
мне слепила глаза,

чтобы, падая оземь,
будто в этом их цель,
листья славили осень
целых восемь недель?

Чтобы время стояло,
как вода подо льдом...

Вдруг мелькнет, как бывало,
поманив рукавом.

* * *

Слагать стихи — нелепая забава,
когда душа заведомо черства,
но где предел и мера мастерства,
и кто нам дал таинственное право
плодить на свет *слова, слова, слова?*
Толпа не примет их, не крикнет: «браво!»,
их не коснется ветреная слава
и будет, к сожалению, права.
Мука и пыль — диктуют жернова.
Но, как Помпею выплакала лава,
так выгорит на пастбищах трава,
когда гортанно, дико и картаво,
ни грамма фальши — яд и тетива —
над миром выпрямится *Слово* величаво.

* * *

Ночь непробудна, бездонна, тиха.
Так и живу — от стиха до стиха.

Так и дышу — невпопад и не в лад,
только и вижу — часов циферблат.

Стрелки бегут — не утонишься! — прочь.
Чуть зазевался и сразу же — ночь.

Чуть повернулся, и множество лет,
словно снежинки, просыпались вслед.

Ангелом белым — сквозь ночь — простыня...
Господи, ты не покинешь меня?

* * *

Я доволен жизнью своею,
отберите все — не обеднею.

Листья с веток будут тихо падать,
заслоняя в небе птичью стаю...
Ничего не жаль мне, даже память
я готов отдать, — зачем не знаю.

Молодость моя, откликнись, где ты?
Что мне делать с жизнью своею?
Разве что стихи писать в газеты —
больше ничего я не умею.

Снова осень ходит вдоль аллеи...
Надоели дактили и ямбы, —
скоро встретимся у бакалей,
или нет — у театральной рампы.

У меня со старостью и смертью
старые неконченные счета, —
ведь не даром выбросил я перстень
азиатской вычурной работы.

...Потому что листья будут падать,
заслоняя в небе птичью стаю...
Ничего не жаль мне, даже память
я отдам тебе, — зачем не знаю.

Лорелея

Лодка плывет, берег зовет.
Что там вдали мне навстречу плывет?

Нет ничего — только светит луна,
только далекая песня слышна.

Лодка плывет, голос зовет.
Кто там вдали так тревожно поет?

Нет никого — только тонет весло,
только течением лодку снесло.

* * *

Откажи себе во всём,
всё отдай другому:
выстрой для другого дом,
сам уйди из дома...

И пойдь куда-нибудь —
путь звезда укажет...
Бесконечный Млечный путь
сам под ноги ляжет.

**ИЗ СБОРНИКА
«DUM SPIRO SPERO»**

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох.

О.Мандельштам

* * *

Как громко мы, молчим, как тихо спорим,
как медленно горим, как горько пьем,
как гибнем врозь, как верим каждой ссоре, —
безропотно стоим под проливным дождем.

Как странно мы живем, как тупо, немо,
как страшно все, что окружает нас...
В последний раз заря придвинет небо,
и Млечный путь взойдет в последний раз.

В последний раз живем! Прощай, планета!
Лети сквозь ночь, скрипи, земная ось.
Я выброшу стихи, возьму в ладони лето
и медленно уйду, земли мгновенный гость...

* * *

Жизнь вывернута наизнанку.
У времени крутой разгон.
Я выйду в поле спозаранку
и обопрюсь о горизонт.

И что́ мне чьи-то неудачи,
и что́ мне боль, и чей-то смех,
когда повалит наудачу
непоправимо чистый снег?

Когда метель, срывая петли,
мешая сроки, вне времен,
вдруг белые закружит кегли
лиц, памятников, дат, имен?

* * *

Я должен многое успеть.
О, если бы я знал заранее:
моя ребяческая спесь,
да томик Тютчева в кармане.

Я должен заживо сгореть,
чтобы из пепла возродиться,
я должен трижды умереть
и трижды в слове возвратиться.

Мне только двадцать восемь лет,
возьму и всё начну сначала...
В каком-нибудь глухом селе
у невозможного причала

в шалаш забраться к рыбаку
и ждать, пока не клюнет окунь...
Пока не подытожит осень
и жизнь, и каждую строку.

* * *

А время шло, и старилось, и глохло...

Б. Пастернак

А время старится, течет, струится,
и зыбким кажется, и тает на губах.
Еще строку, ведь я верну сторицей,
еще страницу — не земных ведь благ

прошу, в конце концов... О, эти лица!
Куда ты лезешь, глупый, чур тебя!
Тюрьма. Вокзал. Опять тюрьма. Больница.
И ласковые пальцы октября.

* * *

На ипподроме — флаги,
на ипподроме — вой...
Налей-ка мне из фляги,
пусти по круговой.

Куда вы мчитесь, кони,
копытами звеня?..
В прокуренном вагоне
везут, везут меня.

Сплетенье тел и линий,
последний поворот...
Как белый шепот, иней
промчится у ворот.

Я вижу, ясно вижу,
как будто подан знак:
не так я ненавижу,
не так живу, не так.

Нас не обманет финиш,
нам жить не вмоготу...
Перила отодвинешь
и канешь в темноту.

* * *

Как строят дом, как разбивают сад,
немыслимым трудом, чудовищным упрямством,
в полночный час — одни — с прекрасным постоянством
всё в тот же стол — опять — потупив взгляд,

с сыновней ненавистью на губах,
с жестокой радостью — все вышли сроки! —
выводим мы губительные строки,
превозмогая свой недетский страх.

* * *

Я болен. Осенью ли, прозой
или стихами — все равно.
Заката предпоследний козырь
ложится на мое окно.

Иду ль куда — домой, из дома,
молчу ли, стоя у окна, —
не астма — смертная истома...
Окно. И за окном — стена.

В окне — фонарь, февраль, фрамуга...
Я болен, стало быть, здоров.
И рядом — ни жены, ни друга,
и ветер с четырех сторон.

...А снег коснется сонного окна,
и до окна уже не дотянуться.
И сада оголенная спина
тебя уж не заставит оглянуться.

* * *

Пока дышу — надеюсь.
Dum spiro spero. Но
смотри, как леденеет
прозрачное окно.

Уже по крестовине
прошелся раз, другой
обетованный иней,
благословенный мой.

Сентябрьские сроки.
Деревья в три ряда...
Роняет свет высокий
вечерняя звезда.

* * *

А осень безнадежно хороша!
безукоризненна ее отделка.
Мелькнет в кустах оранжевая белка...
Что если вдруг — молчи, не лги, душа! —
вся наша жизнь такая же безделка,
как этот мертвый след карандаша?
Но на часах не двигается стрелка,
и так легко дышать... Но что ни шаг —
то тлен и смерть... Пустынная аллея.
Ни мертвый лист, ни беличьи следы
не трогают тебя, и ты стоишь, хмелея
от этой царственной, торжественной беды,
испытывая боль, почти блаженство...
В несбыточном плену у совершенства.

* * *

Искусства разветвленный ствол,
невидимых корней могучее родство.
Я — крайний лист на самой крайней ветке,
и кровь моя принадлежит листе.
Со мной в родстве бесчисленные предки,
и те, кто будет жить — со мной в родстве.
И смерть моя — умрет одно лишь имя
мое — и жизнь принадлежат не мне,
но тем, другим, — да будет свет над ними! —
сгорающим в божественном огне.

**ИЗ СБОРНИКА
«ПОСТСКРИПТУМ»**

Смерть, как парус, шумит за кормой...

Г. Иванов

* * *

Каждый день — одно и то же:
трудно жить в краю чужом,
даже в зной — мороз по коже,
будто в погребе сыром.

Дом уснул, и дверь закрыта.
Как же нам с тобой уснуть?..
Даже если жизнь разбита,
говори мне что-нибудь.

* * *

«Крапива» — красивое слово.
Кругом — лопухи, лебеда...
А в небе — из льда голубого —
шальная стояла звезда.

Стояла над домом и садом,
и в лунном ее забытьи
все то, что казалось нам адом
(свети, дорогая, свети!) —

невнятные шорохи, звуки
бессмысленной жизни земной
в преддверии долгой разлуки
наполнились вдруг тишиной.

* * *

Мы завершаем жизни круг,
глядим по сторонам тоскливо
и говорим себе: «А вдруг?»,
и в небо смотрим боязливо.
Никто не хочет нам помочь:
мы все умрем через мгновенье...
Я б не роптал на провиденье —
когда б не тьма, когда б не ночь,
когда б не страх исчезновенья.

Мне имени не вспомнить твоего

I

Мне имени не вспомнить твоего,
я выдумал тебя, ты мне приснилась...
Должно быть, так в кошмарном, диком сне
рождается какой-то светлый образ
и мучит нас...

Я выдумал тебя.

Ты мне приснилась. Даже — голос твой.
Теперь я часто думаю: в тот вечер
не ты, но некий ангел в синих джинсах
с растрепанными ветром волосами
явился мне. Не вспомнить, не узнать...
Так сладко было трубку поднимать
и пить твой голос...

Может быть еще
мы встретимся. Не знаю. Всё бывает.

II

Мне имени не вспомнить твоего,
я выдумал тебя, ты мне приснилась...
Но если ты — лишь сон, то сделай милость,
приснись еще раз — только и всего.
Мне от тебя не нужно ничего.
Достаточно того, что волшебство
в моей душе навеки утвердилось,
достаточно того, что ты светилась
в двух-трех шагах от сердца моего.

III

Мне этот сон еще не раз приснится...
Скажи мне, кто ты — ангел, серафим,
исчадь ада, грешница, блудница?
Мне все равно — за голосом твоим
и в ад пойду — не страшно заблудиться.

Окно открыто. — Кто там? — Никого!
Как будто сердце, вздрогнув, раскололось...

Мне имени не вспомнить твоего.
Я только голос помню. Только голос.

Поэт

В его бокале лето тлело,
и отражался Млечный путь, —
уже чужим казалось тело,
и тяжело подымалась грудь.

Уже закат безбрежно-красный
сквозь стекла виделся ему, —
в глазах горел огонь ужасный,
и звезды строились в тюрьму...

На то и созданы поэты,
чтобы навзрыд писать о том,
как долго дотлевало лето
в бокале пенисто-пустом.

* * *

Т. Т.

Две женщины за шахматной доской.
Одна из них берет ферзя с тоской
и ставит мат другой, а та, другая,
глядит на доску, ничего не понимая.

Две женщины. Старинная игра.
Я вижу в зеркале двойное отражение.
Одна из них была мне, как сестра,
другая — как надежда на спасенье.

Две женщины. Обманутый король
уже предчувствует с обеими разлуку,
целует в лоб одну, забыв про боль,
и у другой — в дверях — целует руку.

* * *

Л. Т.

Я получил твоё письмо
и положил на хранение в книгу,
которую так любил Аполлинер, —
«Жюльетту» Маркиза де Сада...
Мы встретились в конце сентября.
Осень наклонилась над городом,
как одинокий пьяница над стаканом вина.
Так уже было однажды в детстве.
Помнишь? Деревянные заборы, костры...
Мы не заглядывали в будущее —
просто ели мороженое, пили горячий чай.

Памяти О.М.

Желтый пар петербургской зимы...

И. Анненский

О, эта каменная желтая бравада!
Широких улиц темный разговор...
Из проруби времен, из третьей песни «Ада»
он выбрался — с трудом — на гибельный простор...
Над Петроградом медленные ночи,
и волосы Невы по каменным плечам
разбросаны...

* * *

В траве ржавеют изумруды,
и ласточки не выют гнезда.
Над чернью мельничной запруды
зажглась вечерняя звезда.
Мигают пристальные свечи,
и уж совсем по-человечьи
гримасничают зеркала...
Всю ночь звонят колокола.
Печаль, печаль — в любом аккорде...
Ах, если бы зима сугробы намела,
как у Феллини в «Амаркорде».

* * *

Стихи с немецкого перевожу,
скорее, просто время провожу;
над каждой буквой долго ворожу.

Коль друга нет — готов любить врага!
В Германии теперь лежат снега.
С утра — метель, а к вечеру — пурга.

Окно замерзшее, трагический узор,
а все-таки притягивает взор...
Мальчишки с санками бегут на косогор.

Им весело...

Такие, брат, дела.
Так дерево, сгоревшее дотла,
теперь — всего лишь пепел, лишь зола,
и, право, в этом я не вижу зла.

* * *

Это — белая мгла, это — черная дрожь снегопада,
это — злая зима, отчего же ты так весела?

Я тебя высекал, как огонь, говорила: «Не надо!»,
говорила: «Не трогай!»... Гортанью (опять эта мгла!..),

горсткой праха — губами клянусь: где бы ты ни очнулась,
где бы ни очутилась, о чем бы ни вспомнила вдруг,
я твой вечный должник, я твое одиночество улиц,
я такое встречал лишь в глазах сумасшедших старух.

* * *

Тихо бреду мимо старой ограды,
боль так отрадно легка,
и, как награда, вдоль старого сада
тихо плывут облака.

Чуть покосилась резная калитка,
всюду покой, тишина...
И на губах замирает улыбка,
и колокольня видна.

Осень... Куда-то торопятся стаи,
следом и мне бы лететь —
только усталое сердце не знает:
жить? умереть?

Только усталому сердцу отрадно
тихо грустить в тишине.
Осень, скамейка, калитка, ограда
и облака в вышине...

Осень, калитка, чуть слышное пенье,
сердце в плену, как в бреду...
И, как молитва, как сон, как забвенье —
осень в забытом саду...

**ИЗ СБОРНИКА
«СТИХИ НИ О ЧЕМ»**

«Каких-то звезд бессмысленный глагол...»

А. Тарковский

Ночь в Амстердаме

Мне шальная звезда нашептала,
или в книжке какой прочитал:
«Если можешь, начни все сначала,
даже если смертельно устал».

А потом, передвинувшись вправо,
прошептала еще: «Подожди —
ждут тебя и богатство и слава,
и любовь, и любовь — впереди!»

Прошептала и тут же пропала,
осветив на мгновенье канал...
Ночь, огни, в двух шагах от канала —
безнадежный и страшный вокзал.

Вдруг поймешь у ночного вокзала,
в незнакомый забравшись квартал:
жизнь прошла... Разве этого мало?
Но ведь я ничего не сказал...

Сервантес

Ну что, создатель «Галатеи»,
представь свой праздничный эскорт:
врачи, цирюльники, злодеи...
А там, по-видимому, черт?

С времен осады Фамагусты,
ты знал, что смерть всегда близка.
Какое, к дьяволу, искусство,
когда оторвана рука!

.

Чтоб Дарданеллы запереть,
ты храбро дрался при Лепанто.
Не доставало провианта,
повсюду кровь, резня и смерть...

С стрелой в глазу пал Барбариго,
но рвется к цели Дон Хуан...
Вот из чего рождалась книга —
безвестный рыцарский роман.

* * *

Жизнь давно позади, не пора ль наконец повзрослеть!..
От рожденья мертвы — кто на четверть, а кто и на треть —
все, с кем встретиться мне на земле до сих пор
привелось...

Хорошо на пиру, да вино из мехов пролилось.

Хорошо на миру умирать, смерть, как праздник красна!
Потому что опять над Парижем — стальная весна,
потому что опять виноград закрывает окно,
потому что другого, увы, мне уже не дано.

* * *

Снимали комнату в подвале,
на подоконник падал снег.
Снежинки в комнату влетали —
ты веселилась больше всех.

Тогда я понимал едва ли,
что́ значит ждать, но падал снег,
и где-то на большом рояле
играл упрямый человек.

* * *

Куда же ты?.. Купаясь в светотени,
осенний свет ложится на холсты...
Я б не писал всей этой дребедени,
когда б не ты!

Я б никогда не говорил про осень,
которую зубрю четвертый год...
Соседский тополь утром листья сбросил,
а дуб все ждет.

...Мне по нутру бегущая позёмка,
скрежещущая удадь февраля...
В соседней комнате (негромко)
играет музыка: ля-ля!

В кафе напротив — разговоры,
ну не смешно ли: пьют ситро...
...Свет погашу, задерну шторы,
поеду на метро.

«Поэма о вечной печали»¹

Что под рукой?.. Опять Хименес, Лорка,
угрюмый Борхес и Дюма...
Дверь на балкон распахнута... Подкорка
совсем сошла с ума.

Уже с утра прогулки в дебрях парка,
шампанское, шартрез, кагор...
А к вечеру — опять Петрарка
или какой-нибудь Тагор.

Как это странно: в полумраке комнат
чередовать шаги свои
и сонно думать вслух: «О боге вспомнят
Артюр Рембо и Бо-Цзюи...»

¹ Поэма Бо-Цзюи.

* * *

Уйти от праздных разговоров,
зарыться в прозу прошлых зим.
Эдгара По угрюмый ворон
по-прежнему неотразим.

Гомер по-прежнему невнятен.
Пятнадцатый болтливый век.
И ты Вийон? И ты не спятил?
Ты тоже только человек?

.

Актер, подвыпивший слегка,
лист ковырнет носком ботинка...
Смотри: уносит паучка
серебряная паутинка.

Ламентации

1

Смотрю на небо. В горле — ком.
Уже давно от жизни не пьянею,
поскольку пью лишь кофе с молоком,
как и положено еврею.

2

Так хочется, убрав стихи,
к стеклу холодному прижаться...
Пора прощать, пора прощаться,
пора замаливать грехи!

3

Читаю Библию с утра,
вчера добрался до Матфея...
Болит спина, устала шея,
на сердце — жуткая хандра.

4

Устал от смертной чепухи,
от иудейской мрачной лени.
Смотрю в окно на куст сирени...
Глаза предательски сухи.

* * *

Я на финишной прямой.
От рассвета до заката
все бегу, бегу куда-то...
(Еле слышен голос мой.)

Я на финишной прямой,
и под рёв аплодисментов
рвется финишная лента...
(Но не слышен голос мой.)

Я на финишной прямой.
Улыбаясь виновато,
все бегу, бегу куда-то
вслед за утренней звездой...

* * *

Перерезал пуповину,
но не чувствую вины:
то ли сам страну покинул,
то ли выслан из страны.

Все же для поэтов нищих
лучшего удела нет,
чем искать на пепелищах
прошлого холодный след.

Все, что вспомнил, подытожил:
в суматохе мелких дел
жизнь бессмысленную прожил,
счастье, счастье проглядел.

* * *

Не молчи, не молчи, разговаривай,
отвернись, если можешь — заплачь...
Все равно — сквозь закатное варево
темный всадник уносится вскачь.

Знаю, друг мой, на сердце невесело,
в чем причина, увы, не пойму...
Все равно — сквозь кровавое месиво
мчится всадник в холодную тьму.

Темный всадник сквозь звездное крошево
мчится вскачь от звезды до звезды...
Пожелай мне исхода хорошего,
темный всадник, предвестник беды.

* * *

Как я живу — не спрашивай о том.
Стою себе, как обгоревший дом,
уже почти разрушенный ветрами...
Стою себе с обуглившимся ртом,
угаданный бессмертными словами.

**ИЗ СБОРНИКА
«ЗМЕИНЫЙ КОРЕНЬ»**

Мне говорят, а я уже не слышу...

А. Тарковский

* * *

Не до веселья мне, не до стихов,
я слышу музыку иную.
Как тяжкий сон, как смертных семь грехов
она звучит уже почти вплотную.

Она — в тебе, во мне, она слышна,
она страшнее войн, стихийных бедствий,
она с такой тоской сопряжена,
что кажется, спасение лишь в бегстве.

И мы бежим, цепляясь за слова,
за мелочное, маленькое «счастье»,
забыв, что музыка всегда права
и прозвучать — в ее высокой власти.

* * *

Сгорает запад постепенно,
и шепчет влажные слова
дочь Тейи, юная Селена:
«Смотри, растёт на склонах рва
железная трава — вербена,
а там — орлиная трава».

Жизнь тоже гаснет постепенно!
«Змеинный корень, спорынья,
воронья ягода...» (нетленна
и бесконечна жизнь моя!)
...Всё ближе, ближе Ойкумена
блаженного небытия.

Пригород

I

Невзрачные дома,
неровные заборы
не помнят моего лица.
Здесь жили проститутки, воры —
вино и драки без конца.

И я, как гость иногородний,
приехавший из дальних мест,
иду к знакомой подворотне
и дальше — в нищенский подъезд.

И сотни европейских улиц
мне не заменят той, одной,
где мы навеки разминулись,
случайно встретившись с тобой.

II

Здесь дом стоял, а там стоял сарай.
Я приезжал нечасто, раз в полгода.
В те времена еще ходил трамвай
от кладбища до молокозавода.

Всё как тогда — сажусь в пустой вагон,
не торопясь, талончик отрываю,
гляжу на двух задумчивых ворон
и жизнь свою зачем-то вспоминаю.

III

Кусты крапивы вдоль забора,
заросший жимолостью сад...
Я знаю, что вернусь нескоро,
хоть я ни в чем не виноват.

А память — Альфа и Омега —
уже рисует на холсте
подобье ангельского снега
на позолоченном кресте.

* * *

Умберто Эко скончался в своём доме
в Милане вечером 19 февраля 2016 года

Одиночество — не помеха.
Пусто нынче в моем стакане.
Не поможет Умберто Эко,
он вчера скончался в Милане.

Вспоминаю — терпи, бумага, —
как мечтал о Пуэрто-Рико,
как сквозь дебри архипелага
путь прокладывал в Пёнсе¹ лихо...

¹ Город в Пуэрто-Рико.

* * *

Многоугольное окно,
чернильные задворки неба.
«Всё, всё за нас предрешено», —
сказал приятель мой Загреба
загробным голосом...

И вновь
поднес огонь к заветной трубке.
И лихо вскинутая бровь
была, как мясо в мясорубке.

* * *

И под сурдинку, пенем жужелиц...
О.Мандельштам

Скажи мне правду, друг-карабус¹,
жестококрылый жук-брызгун,
куда летишь? На речку Дабус?²
Или на запад к замку Дун?³

Ну что ж, лети, лети скорее,
в предчувствии осенних бурь,
лети в свою Гиперборею
и дальше — в вечную лазурь.

¹ Карабусы, или жужелицы, или брызгуны (*лат.* Carabus) — род насекомых из семейства жужелиц отряда жесткокрылых.

² *Дабус* (иногда *Ябус*) — река на юго-западе Эфиопии, приток Голубого Нила, который течёт на север.

³ *Замок Дун* (*англ.* Doune) находится в области Стерлинг в *Шотландии*.

Памяти Мандельштама

*27 января 1837 года в районе Чёрной реки
состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом.*

*27 декабря 1938 года в лагере «Вторая речка»
умер Осип Мандельштам.*

I

Церковная хрупкая свечка
горит и горит, не сгорая...
Зловещая Чёрная речка
и чёрная речка Вторая.

Монету — орёл или решка —
подбросил, со смертью играя...
Зловещая Чёрная речка
и чёрная речка Вторая.

Плохая, должно быть, примета —
играть рукояткой узорной
упавшего в снег пистолета
на речке январской и чёрной.

Нечаянный выстрел, осечка
и эхо вороньего грая.
Зловещая Чёрная речка
и чёрная речка Вторая...

II

Не чуя огромной страны,
он бредил ключом Ипокрены
и видел кровавые сны —
грядущие казни, измены.

Он был собеседник ничей.
И вот отыскалось местечко —
болотистый мутный ручей,
Вторая, декабрьская, речка.

Новогоднее

Проснуться ночью на веранде,
нащупать под диваном хенди,
поговорить с Махатмой Ганди
или глотнуть немного бренди,

и, к рюмке наклонившись резко,
вдруг вспомнить об Отце и Сыне,
или вернуться к Ионеско,
что мирно дремлет на камине.

Входите, лысая певица!
Уже звучит «Полет валькирий»...
Что только ночью не приснится
в чужой неприбранной квартире.

Курортный роман

Элле

I

Поэт, любитель женских ног,
ценитель позднего Верхарна,
творец бессмысленных эклог,
чья жизнь достаточно бездарно

в Москве безрадостной прошла
(или почти прошла), устало
подходит к зеркалу — немало
секретов знают зеркала —

и видит чёрта за спиной
весьма сомнительного сорта, —
его лицо, вернее, морда
пугает страшной белизной.

II

И вот, с лицом бледней, чем снег,
любитель виски и виагры
(и женских ног) стремится в Гагры,
чтоб сходу загореть, как негр.

Вот он ступил на пляж курорта,
где ряд обутлившихся тел

лежит с утра... Какого чёрта!
Вчера себе он присмотрел

очки, оранжевые шорты,
костюм под цвет морской волны,
решив, что *на разрыв аорты*
влюбиться должен... Без жены

ему теперь не возвратиться
в осточертевшую Москву.
«Что делать одному в столице?
Нет, без жены не проживу...»

III

Итак, с утра пройдясь по пляжу,
увидев пару стройных ног,
он захотел их в номер сразу
же пригласить... однако лёг

у ног блондинки загорелой
на вид лет тридцати восьми.
Ах, эти ноги! В них всё дело!
Повсюду ноги, черт возьми!

Что если ноги скажут: «Нú вас!...»
Блондинка к морю повернулась,
и он отчетливо анфас
увидел... боже!.. левый глаз

был больше правого... увы,
с лицом, похоже, незадача.
«Когда б была без головы», —
подумал он, едва не плача.

Девушка, тяжёлый том
меж тем подняв двумя руками,
вновь углубилась в Мураками...
Поэт подумал о другом,

вернее, о другой: красотка
(крем для лица, очки, шезлонг,
плюс родинка у подбородка),
взгляд устремлён за горизонт...

Поэт, не сдерживая прыти
любовной, пламенную речь
уже готовит: «Извините,
нельзя ли рядом с вами лечь?..»

А та в ответ, как лань отпрянув:
«Курортных не терплю романов,
мужчина, что за баловство?» —
и отвернулась от него.

IV

...Один, без денег, без жены,
поэт уехал восвояси.
Теперь он спит и видит сны...
«Позвольте, я не вижу связи, —

ввернёт читатель. — Что за цацки?»
И будет прав. «Мон шер, прости!
Или забудь сей текст дурацкий,
иль завтра заново прочти».

* * *

Сперва, уча язык фарерский
вблизи Оркнейских островов,
он позабыл про флаг имперский
и когти флорентийских львов.

Потом, устав от инкунабул,
от саг, сказаний и легенд,
он вынырнул из тьмы вокабул
в преддверье бронзовых календ.

Под чёрно-жёлто-белым флагом,
цедя, как вермут, celibat,
пил Божоле и тихо плакал
в кругу задумчивых трибад.

...Должно быть, так норвежский викинг,
вернувшийся в родимый фьорд,
сжигал отравленные книги
уже на площади Конкорд.

* * *

В. А.

В Коктебель приеду
в тихом сентябре,
заведу беседу
о добре и зле.

Чьи-то дрогнут губы:
«Не сердись, прости...»
Жизнь идет на убыль,
как песок в горсти.

Жизнь идет под гору...
Подойду к горе.
Полночь... Разговоры...
Осень на дворе.

* * *

А. Я.

Проступая из тьмы законной,
снег на черные плиты летит.
Презирая земные законы,
эскалатор несется в Аид,
где жестокий супруг Персефоны
сам с собой о любви говорит.

Тихо падает снег законный.
Город замер, как замороженный.
Персефона на кухне сидит
и, устав от любви телефонной,
в непроглядную полночь глядит.

* * *

А. Я.

Изолгалась, изверилась — из ада
транзитом в рай, — ты думала: легко.
Рассказывай еще, Шахерезада,
про райский сад, про птичье молоко...
Когда вдвоем с тобой брели по саду
осеннему, где падала листва
на утлые скамейки, на ограду,
на парапет и я из озорства
тебя назвал затворницей, — впервые
ты улыбнулась робко, ангел мой...
Пятнадцать лет промчалось стороной!
Теперь года, как псы сторожевые,
нас окружают бешеным кольцом
и сеют страх, и не пускают в дом.

* * *

Прощай, просодия ветвей!
Мне больше музыки не надо.
Над бедной родиной моей
звучит мелодия распада.

Прощай, забытая свирель,
я слышу музыку иную,
она за тридевять земель
колеблет ось и твердь земную.

II

ПОЭМА

БОРИЧЕВ ТОК

(вакханалии)

Боюсь, что некоторые разъяснения все же необходимы.

В начале восьмидесятых судьба свела меня со Славой Шпильманом, киевским художником и донжуаном.

Он жил один в трех комнатах, в собственном доме, в самом сердце Подола.

Мы стали собираться у него по четвергам. Пили чай, читали стихи, говорили о литературе, один раз даже занимались спиритизмом, что по тем временам было отчаянным шагом.

Вот из этих четвергов и родилась предлагаемая читателю шуточная поэма.

— «Как! Разве всё тут? шутите!» — «Ей-богу»...
— «Ужель иных предметов не нашли?»...

А.С. Пушкин. «Домик в Коломне»

Глава первая

1

И вот, откуда ни возьмись,
Зима, хотя — и дождь, и слякоть.
И Шпильман рек: «Доколе плакать?
Я праздника хочу!» — «Окстись! —

Ему ответил Ян учтиво —
Какие праздники теперь?¹
Возьми термометр, померь
Температуру...» — «Слишком живо

Воспоминание одно...
А впрочем, вздор, итак: о деле.
А почему бы, в самом деле, —
Зачем-то выглянув в окно,

Он продолжал — в моей квартире
Нам не устроить карнавал?

¹ То есть в 1983 г.

Нас сколько здесь? Два, три, четыре,
Я — пятый. Новогодний бал!

Друзья, вы пишете сценарий,
Ян, Боря, Жанна, в добрый час!»
Тут он услышал мощный бас:
«Поговорим о гонораре!»

Идея родилась в четверг.
Мы пили чай. Внезапно Слава
(Я был напротив, Жанна — справа)
В недоумение поверг

Собравшихся окольной речью
О том, что жизнь, увы, скучна...
Незамедлительно в предплечье
Я боль почувствовал. Она

Меня уже не отпускала.
Ян молча тербил усы.
Лариса недоумевала.
Пикантно *пах* пикантный сыр.

«Какая скучная затея, —
Сказала Жанна, — господа,
А впрочем, смелая идея...» —
И замолчала навсегда.

Пришлось за дело браться Яну
(Назрел критический момент);

Его давнишний оппонент
На миг умолк, припав к стакану;

Воспользовавшись тишиной,
Ян нас окинул строгим взглядом
И так сказал: «Уж лучше с ядом
Стакан, с цикутой ледяной,

Уж лучше сразу — вечный мрак,
Чем это глупое застолье,
Чем этот мрачный блеск в глазах
При виде яств и алкоголя,

Чем эти шутки невтопад —
Сравнение одно: с могилой,
Уж лучше сразу — в Дантов ад,
Чем это празднество вполсилы...»

.

Засим расстались. Кто куда!
До четверга. Я ж до рассвета
Писал — прости мне Бог! — всё это.
О, где вы, юные года!

2

Над Красной площадью — туман,
Уснул Подол, покрылся мраком;
В такую ночь сойти с ума —
Раз плюнуть! И — прощай. Однако

Над Боричевым Током — ночь.
Чем мне хозяину помочь?

.

Пора! Пора! За мной, читатель!
Грядет четверг. Пришла пора:
Пир средь Чумы и председатель
(Какая странная игра!)

Записки в череп опускает,
И Холкина их достает,
И вслух их медленно читает.
Чего-то в них недостает —

Наверно, правды: комплименты,
Прямой навет, коварство, лесть,
Неверно понятая честь...
Друзья мои, мы слишком смертны,

Чтоб правду говорить в глаза
Друг другу, да и что нам *правда*?
Каприз не более... «Неправда! —
Мне возразит читатель, — за

Тридевяť земель отсюда,
На адовой сковороде,
Короче говоря, везде —
Мы *правды* ждем и верим в чудо».

Вот, только, нет ее нигде!

Да что там — правды, где желанья?
Где искренность? Нормальный смех?
Всем подавай одно — успех
И непомерные страдания.

3

И вот — Вальпургиева ночь.
На шабаш ведьмы вылетают.
Из труб, из окон — мимо, прочь.
Собаки на цепи — не лают.

Урод бесполой под окном
Торгует краденым вином.

Гостей торжественно впускают,
Не торопясь, за стол ведут
(Осталось несколько минут),
Две Холкины в окно влетают;

Сам Шпильман в пыльном кимоно,
В своем парадном вицмундире
Расхаживает по квартире,
Посматривает на окно.

А вот и Жанна, всё в порядке:
Лариса, Ян — все на местах.
«Друзья мои, начну с загадки:
Кто ковыряется в зубах,

Кто матерится, как сапожник,
Кто притворяется больным,
А сам — здоров? Болтун, безбожник,
Вы все здороваетесь с ним;

Кого сегодня с нами нету?
Кому сегодня 35?
Раменский, выкинь сигарету.
Друзья, кто хочет отвечать?»

«Я, — крикнул Ян, — я знал нахала, —
И нервно дернул головой, —
Я назову инициалы,
Скажу фамилию его.

Мы скоро год, как с ним знакомы,
Он к нам прокрался, словно тать,
Чтоб гадости писать в альбомы.
Ему сегодня 35».

Х о р:

Ему сегодня 35!
Кусать его, кусать, кусать!

Я н:

Поскольку всё ж он — именинник
(Пусть — фанфарон и матерщинник,
Пусть — неотесан, грубоват,
Возможно, даже глуповат),

Поскольку всё ж он где-то ходит
(Как не провалится земля),
Я предлагаю что-то вроде
Подарка — хватит костыля.

Х о р:

Как не провалится земля!
В подарочек — два костыля.

*(Открываются дверцы шкафа,
и оттуда выходит автор.)*

А в т о р:

Спасибо, Ян, за все спасибо,
Спасибо, Шпильман, друг и брат,
За костыли спасибо, ибо
Я сам в ошибках виноват.

Х о р:

Он сам в ошибках виноват!
Он, а не мы... Виват! Виват!

П е с е н к а О к р е н т:

На лысой горе
В барсучьей норе
Живет одноглазый паук.
Дождь, как из ведра,
А паук до утра
Орехи грызет и урюк.

«Друзья мои, — сказала Жанна,
Но прозвучали как-то странно
Ее слова, — скажу сперва,
Что я давным-давно мертва,

И вы — мертвы, но, боже мой,
Мне, кажется, пора домой.
Домой, домой, на Берковцы!¹
Поверьте: все вы — мертвецы».

Х о р:

Домой! Домой! На Берковцы!
Мы все — давно уж мертвецы.

.

Ночь напролет шумел народ.
Под утро малость подустали...

Под окнами бродил урод
И разговаривал с кустами.

4

Мне надоели четверги:
Всё те же лица, шутки те же;
Унылый клоун на манеже
И тот — смешней. Друзья, враги,

¹ Городское кладбище.

Вранье, колючие улыбки,
Насмешливый и злобный Ян,
Угрюмый Шпильман... По ошибке
Сюда попал я. Мой диван

Тоскует, ждет — когда, когда же
Вернется тот, кто столько лет
Лежал на нем как бы на страже
и вспоминал, кого уж нет.

Однако что-то всё же тянет
(Какой-то четверговый зуд)
Послушать байки о Татьяне,
Пока мне чай не принесут,

Лениво разобрав фигуры
И вяло разыграв дебют,
Поставить мат (боюсь цензуры,
А то бы срифмовал: е...),

Поговорить о дзен-буддизме
(о, господи, в который раз!),
О вечности, о ламаизме
И о Христе, что всех нас спас.

Гей, Шпильман, не жалея заварки,
Тащи яичницу на стол,
Налей и мне, содвинем чарки,
За дружбы выпьем ореол!

Побольше вермута и злости,
Поменьше бестолковых фраз,
Мы все — не более чем гости,
Мы, может быть, в последний раз

Друг друга видим...

.

Прощай, свободная стихия!
Прощай, вакхический туман!
И вы, три комнаты пустые,
И ты, усталый де Шпильман.

Прощай, железная когорта,
Прощайте, милые друзья!
Иная выпала стезя.
Увидимся ль? Какого черта!

На фабрику, таскать тюки,
А не точить тут с вами ляды —
Какие, к дьяволу, стихи,
Бездельники и лоботрясы?

Нет, лучше я пойду к станку
(Меня не испугаешь сталью)
И, наклонившись над деталью,
Забуду про свою тоску.

Однако что это со мной?
Такое иногда находит:

Ведь Шпильман — он мне, как родной.
А Ян? Куда же он уходит?

А Жанна, Жанна? Боже мой!
Как тараканы разбежались.
Кто, кто останется со мной?
Стихи. Стихи со мной остались.

.

Пусть я не Байрон, не Вордсворт,
Пусть — не задумчивый Петрарка,
Пусть я не гений. Что за черт?
Стихов огромная тетрадка —

Передо мной. И что ни день
Растет вся эта дребедень.

И вот (чистейшая нелепость)
Я понял, что слагаю эпос.

Мне стали сниться утюги,
Струна надтреснутой гитары,
То вдруг — тяжелые шаги,
Короче говоря, кошмары.

5

В последних числах сентября
По плитам мрачного Подола,
То — не спеша, то — просто квёло,
С флакончиком нашатыря,

С каким-то свертком, с топором,
Шел Шпильман этакою букой...
О, если б я владел пером!
Какой невыразимой мукой,

Какой цианистой тоской,
Каким тяжелокрылым горем
Был одурманен мой герой
(Как видно трудно быть героем).

Огонь потух в его очах,
Нос чуть заметно искривился,
Он будто уже стал в плечах —
О, боже, как он изменился!

А все, читатель, потому,
Что некого любить ему.
Любовь, любовь! От сих до сих!
Сиюминутна и жеманна...

Лети ж, мой легкокрылый стих,
Над мрачной пропастью романа.

Ко мне, поклонники Шпильмана!
Сюда, нахлебники, сюда!
Здесь — пир горой! Горит в стаканах
Громкограненная слюда.

Повсюду вилки, ложки, даже —
Тарелки, кажется, видна

Гусятница, — в роскошной саже,
Но, к сожалению, без дна.

Разноречивая посуда,
Зато без праздничных затей.
Здесь пир горой, и это — чудо,
И это — полон дом гостей.

А гости — знатные уроды,
Что ни лицо, то перст судьбы:
Бездельник, хам, тупица, лодырь,
Зато у всех большие лбы.

Хозяйку (может быть, некстати)
Заставлю мух весь день давить,
Зато последний рубль истратит,
Чем, впрочем, многих удивит.

И — музыка. И — Мона Лиза —
Скажу ль? — без всяких подоплёк —
Сидит бесстыжая Луиза
И охмуряет потолок.

Роняя траурные пятна
На ослепительный паркет
О чем-то врет невероятно
Очаровательный поэт.

Еще один, философ втуне,
Но втайне — стопроцентный мот,

Судьбу доверивший Фортуне,
Экспромтом гибельным блеснет.

И в вихре бешеной мазурки
Осатанеет вдруг народ,
Гася о скатерти окурки,
И вспоминая Новый год.

.

Оставим жизненную прозу.
Люблю высокий чистый слог!
Люблю, когда сосед тверёзый,
Слоеный выкушав пирог,
О судьбах мира размышляет
И говорит: «добро» и «зло»...

Валеру, впрочем, развезло:
Очки в томатный сок роняет,
Клянется в дьявольской любви,
На Яна злобно нападает,
Меж тем как грозный визави
Его смертельно оскорбляет.

6

Нет, все-таки я — графоман:
Всё те же лица, та же тема.
Незавершенная поэма,
Неполучившийся роман.

Что скажет ветреная Эмма?
О чем задумается Ян?

Прочтет ли вслух, подольский демон,
Неблагодарный де Шпильма́н?

Друзья, пишу не для забавы,
Хочу успеха, жажду славы,
И зависть черную таю, —
Я, как задумчивый Сальери,
Стою у моцартовой двери
И перстень с ядом достаю.

Хочу успеха, жажду славы, —
Ах, это, видно, бес лукавый
Меня попутал... Снег летит,
С деревьев лист валится ржавый...
«Хочу успеха, жажду славы», —
Проклятый голос говорит.

Однако не пора ли к делу?
Как лес осенний поределый
Сквозит последней красотой,
Еще не веря в умиранье, —
Так реже сделались свиданья
Моих героев меж собой.

У Яна новые заботы.
Забыты прежние друзья.
Теперь домой после работы,
Поскольку у него семья,
Он едет, думая о том,
Что Лорхен ходит с животом.

А где же Шпильман? Как же он?
Неужто все о нем забыли?
В самоанализ погружен,
Покрывшись толстым слоем пыли,
Он ищет истину... Вотще!

Всё в том же стареньком плаще,
Всё в той же шляпе — что за вид! —
Он Фрейдом барышень пугает,
Им просветленье обещает
И сам себя боготворит.

7

Над Байковым¹ взошла луна,
Увязло дерево в сугробе.
Убийственная тишина...
Между торжественных надгробий

Ночные вспыхнули огни,
Гробы со свистом распахнулись,
И даже камни содрогнулись
Когда увидели они,

Как из зияющих могил
Полезла нечисть, что есть сил:

Тот — с лошадиной головой,
Тот — с головой, как у собаки,

¹ Городское кладбище.

Кощеи, ведьмы, вурдалаки
И ступа с бабою-ягой.

Мелькают праздничные маски:
Три паралитика в коляске,

Румяный карлик в котелке,
Скелет в дырявом сюртуке...

И среди этого бедлама,
Среди кошмарной суеты,
Как лик Христа в ладонях храма,
Как *гений чистой красоты*,
Стоит мой Шпильман... Боже правый!
Стоит с улыбкой на устах
И наблюдает пир кровавый.

Читатель! Все тебе не так!
О чем не пишешь — все впустую,
Тебя ничем не удивишь:
Ни тем, как смертно я тоскую,
Ни тем, как искренне ты спишь...

Глава вторая

Земную жизнь до половины
Пройдя, я сел за стол — звени,
Мой стих, закованный в терцины!

А ты, читатель, извини:
Мы сроду Данта не держали
В руках, хотя в былые дни

Всерьез Лозинского читали
(Я даже несколько страниц
На память знаю). В шумном зале

Среди испуганных девиц
Вскользь говорить о Мандельштаме
Неловко как-то... Сколько лиц!

Уже смычки тоскуют в яме,
Уже готов погаснуть свет...
Вдруг рампа вспыхнула огнями —

За пируэтом пируэт —
Под плеск, и гам, и гомон кресел
На сцену высыпал балет.

Но кто в шестом ряду, невесел,
Сидит с нахмуренным челом,
С мечом картонным возле чресел?

Неужто Шпильман? Я с трудом
К нему пробрался: «Что? Откуда?
Где пропадал? Пойдем, пойдем...»

А он в ответ: «Молчи, Иуда!»

.

Друзья мои, о чем пою?
Зачем слагаю строфы эти,
Весь этот вздор? Зачем с утра
До поздней ночи, в звездном свете
Корплю над рифмами? Пора
И честь знать. Иль в подлунном мире
Нет больше рыцарей пера,
Еще бряцающих на лире
Во имя света и добра?

Есть, слава богу!..

.

Терцины мне не по плечу,
Оставим гиблую затею
До лучших дней. Давно хочу
От ямба перейти к хорее —
Все некогда: то зуб лечу,
То вдруг ангиной заболею,
То сдуру поскользнусь на льду,
То залобуюсь на звезду...

Не лучше ль взяться за октаву?
Она труднее во сто крат,
Хоть, знаю, многим не по нраву
Ее стеснительный наряд:
Стих тотчас превратят в забаву.
А я, друзья, признаться, рад
Октаве, хоть и не легко мне,
Поскольку домик есть в Коломне.

Вы помните? У *Покрова...*
За самой будкой... Боже правый!
Обыкновенные слова,
Великосветские забавы,
А как кружится голова!
Зато теперь иные нравы,
Мы говорим, открыв журнал:
«Опять редактор обкорнал».

Ну, это полбеда, журналы
На то и созданы, к чему
Устраивать жене скандалы?
Так можно угодить в тюрьму.
Нет, лучше — к морю: чайки, скалы.
Мне не забыть ночей в Крыму!
Там, возле волн, в тумане сизом
Я целовался с Симеизом.

И чаек дерзостный полет
Следил с утеса. Над волнами
То белый парус промелькнет
И скроется за берегами,
То катер в Ялту проплывет.
Я подружился с облаками,
Беседовал с травой, с цветком
Иль уплывал за волнолом...

Меня лишь море волновало,
Мне не знаком был страшный груз

Строки (любви и счастья мало,
Когда узнаешь ласки муз).
Вдоль берега бродя, бывало,
Я целый день ловил медуз
И думал: «Сколько мне осталось?» —
Пора отъездов приближалась.

«Прощай!» — подумал я легко;
Как, в сущности, нам мало надо:
Орехи, козье молоко
Да две-три грозди винограда;
Когда над морем высоко
Звезда зажглась, и вслед цикада
Ударила — тогда, друзья,
Мне кажется, был счастлив я.

Но быстро годы пролетели:
В душе иль пусто, иль темно.
Одни лишь сумрачные ели
Еще глядят в мое окно.
Дни складываются в недели,
Среда, четверг — не все ль равно?
Живу. Зачем? Не понимаю.
Но все равно не унываю!

Однако к делу: мой герой
Из театрального подъезда
Буквально вышел сам не свой.
Три дня не находил он места

Себе, на третий — чуть живой,
Поплелся к Жанне, а невеста
Осталась дома. У окна
Всю ночь дежурила она.

Теперь поговорим о Жанне:
С женой, с детьми, который год
Я у нее на содержание —
Она ж и глазом не моргнет.
(Трудна лишь форма — содержание
Я просто не беру в расчет.)
Друзья, не будьте слишком строги:
Устали рифмы, еле ноги

Волочат... Что там, впереди?
Деревня, дом или застава?
А может — хутор? Подожди,
Там отдохнем... Опять — октава!
И целый день — дожди, дожди.
Теперь куда? Давай направо!
Или налево, или... Нет!
Вон там, за лесом виден свет!

А между тем проходят годы,
Бредут, как пашнею — воле.
Всё тот же я: ищущий свободы,
По вечерам из-под полы
Пишу неряшливые оды
И тру паркетные полы.

Не надо только наставлений.
(Я не могу без отступлений.)

Совсем запутался — и так
Нет действия, роман растянут:
Что ни строка — то и пустяк,
А рифмы, рифмы — уши вянут;
Сюжета нет. Герой — дурак!
Э, нет! Такой роман не станут
Читать... Мне б только дописать,
А там возьмусь за ум опять.

.

Вдруг — в дверь звонок. Потерпят! Жанна
Швыряет в тумбочку постель,
Глядит в окно: для Юры — рано
И слишком поздно — для гостей.
Не Окрент ли? Убрав *Ренана*,
Она идет к дверям, за ней —
Невольный страх, она — к порогу...
И видит Шпильмана! Ей-богу,

Ей стало грустно и смешно
(Грешно смеяться над друзьями,
Но над собой — разрешено).
Обняв его двумя руками
И бормоча: «Давно, давно
Меня не радовал звонками»,
Она садится на диван
И думает: «Какой болван!»

Счастливым баловень природы,
Любовник праздный и поэт
(Ты вышел, может быть, из моды,
Неточен, может быть, портрет),
Поклонник муз, вина, свободы...
Увы! За дряхлостью лет
Ступай на пенсию, приятель!
А ты, любезный мой читатель,

Ты что молчишь? Ах, ты хотел
Сказать, что рифмы утомили
Тебя, что стиль мой устарел,
Что нынче вся загвоздка — в стиле
И что... Ну, хватит! Надоел!
Где те, немногие? — в могиле!
Как мумии лежат рядом
И не шевéлят языком.

Где Безгин, яростный мечтатель?
Где Фугалевич молодой?
Где местных мод законодатель
Бальцер с красавицей-женой?
Где, наконец... Прости, читатель,
Ты их не знал. Но, боже мой!
Как я любил их фразы, речи...
Всё меньше их! Теперь при встрече

Друг друга мы не узнаём,
Проходим мимо и с опаской

Глядим вослед... Или втроем,
С беременной женой, с коляской
Через дорогу в гастронорм
Бредем под вечер... Грустной сказкой
Тогда нам кажется, друзья,
Всё то, что вспоминаю я.

Глава третья

Ночь

Рабочий кабинет Шпильмана

Ш п и л ь м а н

Уж не вернуть того азарта,
С каким, бывало, открывал
Камю, пленительного Сартра
Или Блаватскую читал.
Да что там Сартр? Платон, Сенека,
Кузанский — были мне друзья.
И что же? Изменился я?
Ничуть! Моя библиотека
Умней не сделала меня:
Я своенравен, лицемерен,
Я не могу прожить и дня,
Чтобы не плакала родня,
Я вежлив, но высокомерен,
Короче: глуп, как сивый мерин!
Все остальное — болтовня.

Бывало, выйдешь из ломбарда,
Пройдешь Ирининской квартал —
Гостеприимная мансарда
Или глухой полуподвал.
Гитары медленный накал
В руках какого-нибудь барда.
Тот наизусть читает Сартра,
Тот льет шампанское в бокал...
И мощный гений Леонардо
Над головой моей витал.
Теперь не то...

*(Достает пачку старых фотографий,
внимательно их разглядывает.)*

Она училась в Театральном.
Была застенчива, умна;
В своем пальто провинциальном
Казалась девочкой она.
Великолепный бюст, спина,
Безукоризненная шея...
Бывало, встанет у окна,
От истерии хорошея.
Волос тяжелая копна
На плечи медленно спадает.
Бедняжка, как она страдает!
Как безнадежно влюблена!
И что же? Не прошло и года —
Она оставила меня
И вышла замуж за уроды.

Я слезы лил четыре дня,
На пятый — встретился с Татьяной.
Она, как трепетная лань,
В ночной сорочке полотняной
Мне танцевала падеспань
И обнимала мне колени,
И извивалась, как змея,
И говорила в исступленье:
«Я — страсть последняя твоя!»
А на дворе стояло лето
(Была июльская жара),
Моей рукой полураздета,
Возле персидского ковра
Она мне завтрак подавала
И щеки гладила мои,
И пальцы в мýке целовала...
Так почему же, черт возьми,
Она ушла? К тому... К другому...

*(Неожиданно вспыхивают занавески,
и из пламени возникает сатана.)*

Ш п и л ь м а н

Ты кто?

М е ф и с т о ф е л ь

Я тот, кто нужен всем,
Кто знает всё...

Ш п и л ь м а н

Знакомый профиль.

М е ф и с т о ф е л ь

Перед тобою — Мефистофель.
Ты звал меня? Скажи, зачем?

Ш п и л ь м а н

Мне скучно, бес...

М е ф и с т о ф е л ь

Всем скучно, Шпильман!

И царедворцу, и шуту,
И герцогу в дворце фамильном,
И нищим, спящим на мосту.

Тот ищет славы и богатства,
Тот пишет повести в журнал,
Тот свято верит в идеал
Свободы, Равенства и Братства,

Тот печень лечит круглый год,
А этот в шахматы играет,
При этом каждый третий пьет —
И всяк по-своему скучает.

Лишь тем, кто с малых лет к труду
Приучен, — кое-что известно.
Скучают, Шпильман, — повсеместно,
И — даже грешники в аду.

(Казалось бы, уж что им надо?
Кипи на медленном огне,
Так нет — то в рай бегут из ада,
То козни строят сатане.)

Знай: эта глупая планета
Обуглится со всех сторон;
Вдруг хлынет тьма, не станет света,
И страшный призрак похорон

Развеет жалкое веселье, —
Тогда оставшихся в живых
Обнимет грозное похмелье...
Но нам-то, нам-то что до них?

Ты будешь петь и веселиться,
И наслаждаться тишиной,
И даже, может быть, трудиться
Или беседовать со мной...

Ш п и л ь м а н

А дальше что?

М е ф и с т о ф е л ь

В иные сферы
Отправимся, к иным мирам...

Ш п и л ь м а н

Ах, Мефистофель, всё — химеры!

М е ф и с т о ф е л ь

Чего ж ты хочешь?

Ш п и л ь м а н

Я и сам

Не знаю... Скучно жить на свете!

М е ф и с т о ф е л ь

Как листья сбрасывает ветер,
Зеленые еще вчера,
И гонит в дальние пределы,
Как солнце входит вглубь двора,
Швыряя огненные стрелы;
Как аравийский ураган,
Угрюмый пасынок пустыни,
Волнует тихий океан
Под гнетом собственной гордыни —
Так и беспечный человек,
Дитя изменчивой природы
Не успокоится вовек
Под гнетом собственной свободы.

Вальпургиева ночь

М е ф и с т о ф е л ь

На Броккен, Шпильман! Рад, не рад,
Вальпургиева ночь — в разгаре,
Нас ждет веселый маскарад.

Ш п и л ь м а н

Ты нынче, кажется, в ударе.

М е ф и с т о ф е л ь

Метла нас вмиг перенесет
От этих мест до Ильзенштейна,
А там — каких только красот...

Ш п и л ь м а н

(с иронией)

Упомяни еще Эйнштейна.

М е ф и с т о ф е л ь

Нет, Шпильман, что ни говори,
Там есть, где разгуляться взгляду:
Там ведьмы пляшут до зари
И веселятся до упаду.
Там на виду у всех наяду
Всю ночь пытаются упыри,
Там волк читает Дхаммападу,
Там из расщелин пузыри...

Ш п и л ь м а н

Ну, ладно, черт с тобой, я сяду.

*(Садится на метлу
рядом с Мефистофелем.)*

М е ф и с т о ф е л ь

Пусть всё вокруг сгорит дотла,
Лети, лети, моя метла!

Пусть хлещет ветер ледяной,
Лети под самую луну;

Минуя впадины и рвы,
Вдоль свежескошенной травы,

Бесшумнее совы ночной,
На Броккен, сердцу дорогой.

Одна из вершин Гарца

Ш п и л ь м а н

Какая дивная картина!
Какой неслыханный простор!
К вершине пригнана вершина
Гигантских, исполинских гор.

Из вековых наслоений
Возвысились обломки скал.
Какой, какой безумный гений
Их ювелирно обтесал?

Кто их заставил так кривляться?
Кто им внушил такую страсть?

М е ф и с т о ф е л ь

Не время, Шпильман, удивляться,
Тут можно запросто упасть.

(Слышны голоса.)

Отсюда выберусь навряд...
Ой, кто-то ущипнул за зад...

Держи левей... бери правей...
Совсем остался без бровей...

А ты куда, гнилой пенёк?
Смотри, останешься без ног...

М е ф и с т о ф е л ь

Не бойся, Шпильман. Тверже шаг.
И у чертей есть свой аншлаг.

Наверху

М е ф и с т о ф е л ь

Какое пестрое собрание!
Три ведьмы в красных домино
Глаза таращат по-бараньи
И пьют из туфельки вино.

Вертясь у зеркала, дурак
Всю ночь любит себя:
На нем отлично сшитый фрак
И золотая трость с резьбою.

А этот от жены ушел:
Та подала на алименты.
На нем — затянутый камзол
И золотые позументы.

Всё так же музыка гремит,
Не достигая, впрочем, слуха...

Ш п и л ь м а н

Послушай, бес, меня тошнит.
Где туалет?

М е ф и с т о ф е л ь

Какая муха
Тебя ужалила?

Ш п и л ь м а н

Домой!

М е ф и с т о ф е л ь

Побойся Бога — полвторого,
Не время спать... Да что с тобой?

Ш п и л ь м а н

Домой!

М е ф и с т о ф е л ь

Изволь, метла готова.

В лесу

М е ф и с т о ф е л ь

Смотри: художники, поэты,
Два композитора, одна
Кинозвезда из оперетты
И местный представитель «дна».
Пойдем, там весело...

Ш п и л ь м а н

Да нет,

Мне эта публика знакома,
Я не любитель оперетт.
На кой мне черт вдали от дома
Дрожать с тобой в шестом часу
В полузатоленном лесу
И ждать, когда придет рассвет...

М е ф и с т о ф е л ь

Какой нетерпеливый, право.
Смотри: вон там, да нет, чуть справа —
Стоит талантливый поэт.

П о э т
(навзрыд)

Душа устала плакать и стенать,
И вера, точно ваза, раскололась,
И я поверить не могу опять,
Что возвратится прежняя весёлость.

Я не хочу грустить, да и о ком?
Я жизнь прожил в бреду больного сада.
Вон листьев непотребный желтый ком
Летит по ветру — вся его награда...

Ш п и л ь м а н

Ему бы воблой торговать,
А он в нервическом припадке
Баллады пишет... Вот, опять...

М е ф и с т о ф е л ь

Оставь, оставь свои нападки.

В т о р о й п о э т
(отталкивая первого)

Я, в чьей памяти столько имен,
Столько неповторимых созвучий,
В некий день, в некий час неминучий
Я исчезну в пучине времен,
«Я, в чьей памяти лэ и рондели...»

Ш п и л ь м а н

Еще один дегенерат.

М е ф и с т о ф е л ь

Любезнейший, вы надоели,
Ступайте с Богом...

В т о р о й п о э т

Очень рад
Был познакомиться...

М е ф и с т о ф е л ь

Однако
Пора и в путь. Упал туман,
Деревья из ночного мрака
Как будто шепчут: «Уриан»¹.
В дорогу, Шпильман!..

Ш п и л ь м а н

Путь извилист,
А цель и черту не ясна.
Зачем мы здесь остановились?

¹ Одно из имен дьявола.

Повсюду пустота одна,
Кругом одни противоречья
И нет разгадки бытия...
Скажи мне, бес...

М е ф и с т о ф е л ь

Предостеречь я
Тебя б хотел...

Ш п и л ь м а н

Скажи мне...

М е ф и с т о ф е л ь

Я

Не для того из тьмы явился
На полуночный тихий зов
(Ты помнишь, как ты удивился,
Едва я отворил засов),
Чтобы на глупые вопросы
Давать бессмысленный ответ.
В дорогу, Шпильман!.. Ливни, грозы
И то, чему названья нет,
Всё это — жизнь. Без сожаленья
Ступай навстречу. Черт — с тобой.

Ш п и л ь м а н

За поколеньем поколенья
Однообразной чередой

Мы сходим в землю род за родом.
Что пользы от земных трудов?
Мадонну заодно с уродом
Закапывают... Мудрецов
Хоронят наравне с глупцами,
Когда ж приходит наш черед,
Гнием, как все в могильной яме,
За родом род, за родом род...

М е ф и с т о ф е л ь

Молчи, молчи, не говори
Так много слов — в них мало проку,
Смотри: звезда ушла к востоку,
Стальное лезвие зари
Край неба разом распороло,
И разом хлынули лучи...
Так и небесные ворота:
Откроются — сильнее стучи.

Эпилог

Я завершил свой скромный труд.
Прощай, читатель, бог с тобою.
Прошу лишь несколько минут.
Колючей рифмой, шуткой злою

Я забавлял других, и сам
Не раз сквозь слезы улыбался,

Но то и дело порывался
Взлететь, как ястреб к небесам.

Хотелось музыки, любви,
Поэзии и прочей дряни...
А что осталось? Лед — в крови
Да горсточка воспоминаний.

1983–1986

III

ΠΡΟΖΑ

ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ МАНДЕЛЬШТАМА

(Заметки о поэзии,
дневниковые записи)

*Не повинуется мне перо: оно расщепилось
и разбрызгало свою черную кровь.*

О. Мандельштам «Египетская марка»

ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ

К полуночи я наконец добрался домой...

Стоял холодный бесснежный январь.

Я шел по спящему городу, упрямо повторяя вре-
завшуюся в память строку: «Я развернул пальто, как
парус»¹...

Именно этой зимой я начал писать заметки о Ман-
дельштаме. Даже название придумал: «Чёрное солнце
Мандельштама». Не солнце Эреба, не образ, отсылающий
к Нервалю, которого обожала Ахматова, а, по словам На-
дежды Яковлевны, — *черный бархат всемирной пусто-
ты, черный лед стигийского воспоминания, черная Нева
и черные сугробы революционного Петербурга...*

Этот образ («черное солнце») встречается также
в стихах Виктора Гюго: «Un affreux soleil noir d'où rayonne
la nuit» («Ужасное черное солнце, излучающее ночь...»).

«БРЕД СОБАЧИЙ!»

В «Дневнике одного гения» Сальвадор Дали без осо-
бого почтения отзывается о своих соотечественниках,
у которых завелась «дурацкая <...> мода, когда все кому
не лень воображают, будто гении <...> это человеческие
существа, более или менее похожие на всех остальных
простых смертных. Всё это чушь».

¹ Стихотворение Ю. Боброва.

Мандельштам (если верить Кузину) тоже любил повторять: «Чушь! Бред собачий!»

В мемуарах, помеченных октябрём 1970 г., Б. Кузин вспоминает, как Мандельштам, прощаясь, кричал ему, высунувшись из пролётки: «Борис Сергеевич, не носите крахмальные воротнички. Их нельзя носить. Они вас погубят»¹.

Не погубили! Кузин, несмотря на три года лагерей и шестнадцать — ссылки, всего десять лет не дожидаясь перестройки.

ИТАЛИЯ

Новый год встречал у Левита-Броуна.

В Вероне шёл дождь. Мы сидели на кухне, говорили о погоде, потом — о стихах.

— Я небольшой поклонник Блока, — несколько агрессивно заметил Броун.

Меня это удивило. А как же:

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух...

— Красиво... — процедил Броун, после чего неожиданно замолчал.

В это время небольшая черная кошка с уродливо торчащим животом, не спеша, прошлась по балкону.

¹ Ср.: «Не носите эту шляпу, — говорил О.М. Борис Кузину, — нельзя выделяться — это плохо кончится». Мандельштам Н.Я., Воспоминания.

Я налил себе чаю.

Ну что ж, Бунин тоже не любил Блока.

И Арсений Тарковский под конец жизни с горечью произнёс: «Я не люблю Блока. Знаете, разлюбил... Почувствовал ужас перед “И перья страуса склоненные / В моем качаются мозгу...”»¹.

«ДОМАШНЕЕ БЕССМЕРТИЕ»

«Наконец мы обрели внутреннюю свободу, настоящее внутреннее веселье, — пишет Мандельштам в статье “Слово и культура” — Воду в глиняных кувшинах пьем как вино».

Интересно, что и в его стихах (самых разных лет) постоянно возникают образы, так или иначе связанные с водой: «Прозрачный стакан с ледяною водою...», «Словно темную воду, я пью помутившийся воздух...», «Хорошая, колючая, сухая / И самая правдивая вода...», «кривой воды напьюсь...» Вплоть до: «Скольжу к обледевшей водокачке / И, спотыкаясь, мертвый воздух ем».

А вот цитата из «Египетской марки» (1928):

Семья моя, я предлагаю тебе герб: стакан с кипяченой водой. В резиновом привкусе петербургской отварной воды я пью неудавшееся домашнее бессмертие.

Пушкин в отличие от Мандельштама пил другие напитки: «Я воды Леты пью...»²

¹ Тарковский А. Пунктир. 1982.

² Пушкин А. Домик в Коломне.

«ДИКОЕ МЯСО»

В статье «Преодолевшие символизм» Жирмунский называет Мандельштама «фантастом слов».

У Гоголя (если я ничего не путаю) есть рассуждение о природе фантастического, где он утверждает (цитирую по памяти), что на грушевом дереве могут расти золотые плоды — груши, но никогда — яблоки.

Меня всегда поражала, несмотря на чудовищные семантические (читай: тектонические) сдвиги в стихах и, особенно, в прозе Мандельштама («В ремесле словесном я ценю только дикое мясо, только сумасшедший нарост»¹) невероятная, абсолютная, беспощадная точность его метафор. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить хотя бы «мраморную плаху умывальника» из «Египетской марки».

«ВЕТЕР ЛЕТАРГИИ»

По просьбе дам,
хвостом помазав губы,
я заговорил на свежем-рыбьем языке!

А. Кручёных

Перечитываю Алексея Кручёных. Какая прелесть!
Цитирую наугад:

«Очевидно, с каждым веком подрастает некая сила, подобная ветру, которая все упорнее мешает поэтам стрелять прямо в цель и требует изощренной баллистики».

(Терентьев)

¹ Мандельштам О. Четвертая проза.

...Поскольку мистика символистов кончилась трагично, к ним применимы слова поэта А. Чачикова:

Проезжий фокусник увез мою жену,
Влюбленную в египетские тайны...

...Р. Яacobсон поэтому имел полное право писать:
«по существу всякое слово поэтического языка в сопоставлении с языком практическим — как фонетически, так и семантически — деформировано!»

«Вокруг земли <...> дует ветер летаргии».
(Терентьев)¹

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

Еще об Италии...

В пол-третьего ночи мы с Борисом встречаемся на кухне. Этакое *броуновское* движение. Броун, не торопясь, ополаскивает заварочный чайник. Меня, честно говоря, уже воротит от чая. Но... мы не можем разойтись по комнатам, поскольку продолжаем говорить о Георгии Иванове. Каждый спешит произнести вслух любимые строки.

Я:

...Зимний день. Петербург. С Гумилёвым вдвоём,
Вдоль замёрзшей Невы, как по берегу Леты,
Мы спокойно, классически просто идём,
Как попарно когда-то ходили поэты.

¹ Кручёных А. Кукиш пошлякам.

Левит-Броун:

Мне весна ничего не сказала —
Не могла. Может быть — не нашлась.
Только в мутном пролёте вокзала
Мимолётная люстра зажглась.

Только кто-то кому-то с перрона
Поклонился в ночной синеве,
Только слабо блеснула корона
На несчастной моей голове.

Засеваем, так сказать, *пшеницей* ледяной новогодний *эфир*. Кстати, «эфир» — одно из любимейших слов Г. Иванова.

«ЗВУКОВЫЕ ПОВТОРЫ»

Осип Брик в статье «Звуковые повторы» опубликованной в 1917 году писал:

Разбирая звуковую структуру поэтической речи, преимущественно по стихотворным произведениям Пушкина и Лермонтова, я обнаружил звуковое явление, которое назвал повтором.

Сущность повтора заключается в том, что некоторые группы согласных повторяются один или несколько раз, в той же или измененной последовательности, с различным составом сопутствующих гласных.

Он приводит множество примеров:

и **к**ровь **широ**кими струями
на чеп**ра**ке его видна.
(Лермонтов, «Демон»)

Или:

как **взор** **г**рузинки молодой.
(Лермонтов, «Демон») и т.д.

Перечитывая статью, вспомнил пушкинские строки:

Во глубине **сибир**ских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш **с**кор**б**ный труд...
(«Во глубине сибирских руд...»)

А также — вторую строфу из стихотворения Мандельштама «Декабрист»:

Честолюбивый сон он променял на **сруб**
В глухом урочище **Сибири**
И вычурный чубук у ядовитых губ,
Сказавших правду в **с**кор**б**ном мире.

И у Пушкина, и у Мандельштама эпитет «скорбный» произрастает из «фонетической» Сибири, отчего воздействие его усиливается многократно.

«ТОСКА ПО МНОГОСЛОВИЮ»

«Карамзина спрашивали, откуда у него такой дивный слог. Из камина, батюшка, сказал он. “Напишу, и в огонь, напишу снова и снова — в огонь”», — я обна-

ружил эти слова в 8-м томе Собрания сочинений Бориса Хазанова, которое готовил к печати для издательства «Алетейя» на протяжении двух последних лет. В эссе «Тоска по многословию».

В позапрошлом году я приезжал к Хазанову в Мюнхен. Поезд пришел с опозданием. Я почему-то ожидал увидеть гиганта. Увидел человека небольшого роста (казалось, он никуда не спешил), с любопытством разглядывающего толпу.

«ВЛАДЕЛЕЦ ШАРМАНКИ»

Из прозы Цыбулевского («Владелец шарманки»):

— Я верю в сны как в художественные произведения.

— Сон как рукой сняло, и во сне сняло рукою — это что — все одна и та же рука?

Хозяин сладко зевнул, гость вышел и стал прогуливаться по саду меж двух рядов цветущих деревьев. За оградой — луг с пасущимся конем.

— Что может прийти в голову в такое утро при виде полоски воды, обрамленной лугом?

Я видел озеро, стоящее отвесно (Мандельштам). И еще: Круглый луг, неживая вода (Ахматова). Вспомнил — как сотворил. Природа не может и шелохнуться без строки поэта.

Я ухо приложил к земле (Блок) — какая прекрасная буквальность! И он приложил ухо к земле — и сердце — терапия такая — тут в саду дор. мастера с переносными на балконе дорожными знаками: идут работы — объезд.

Дом. Сад. Пчелы. Цветенье. Низкорослые деревья. Деловое жужжание пчел. А горький запах откуда? Оттуда — от ореховых листьев — настой в воздухе.

И дождь перед дождем — яблоневого цвета — ураганный.

Капли первые в лоб, как в окно.

Женщина-Дон-Кихот ждет Росинанта в поле — она далеко — он еще дальше — белый на зеленом — она — оранжевая. И озеро, стоящее отвесно.

Гром. Гром покатыл. С чем его сравнивали до колесниц, до телег? — ведь не с чем! И колесо выдумали, и колесницу изобрели благодаря грому.

Поле опустело.

Не забыть бы, что трава в тот день была осыпана белыми лепестками.

«Сон как рукой сняло...» О чем это я? Да всё о том же: «вспомнил — как сотворил».

«В РОСКОШНОЙ БЕДНОСТИ...»¹

Гвоздь вечера — Мандельштам,
который приехал, побывав во врангелевской тюрьме.

Дневник А. Блока

«Если бы залы Эрмитажа вдруг сошли с ума, если бы картины всех школ и мастеров вдруг сорвались с гвоздей...» — так начинает Мандельштам один из своих пассажей в «Разговоре о Данте». Чуть дальше он вспоминает о «неизносимых швейцарских башмаках с гвоздями».

О гвоздях говорит в «Шуме времени»: «...держали большую лавку финских товаров <...>, где пахло и смо-

¹ О. Мандельштам. «Ещё не умер ты, ещё ты не один...» <15–16 января 1937>

лой и кожами <...> и много было гвоздей» и в «Четвертой прозе»: «Я бы взял с собой мужество в желтой соломенной корзине с целым ворохом пахнущего щелоком белья, а моя шуба висела бы на золотом гвозде».

И еще:

И столько мучительной злости
Таит в себе каждый намек,
Как будто вколачивал гвозди
Некрасова здесь молоток.
(«Квартира тиха как бумага...»)

А вот знаменитые стихи 36-го года:

Оттого все неудачи,
Что я вижу пред собой
Ростовщичий глаз кошачий —
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Там, где огненными щами
Угощается Кащей,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Камни трогает клещами,
Щиплет золото гвоздей.
(«Оттого все неудачи...»)

Откуда столько гвоздей?

Разгадка в «Шуме времени»: «Я тогда собирал гвозди: нелепейшая коллекционерская причуда. Я пересыпал кучи гвоздей, как скупой рыцарь, и радовался, как растет мое колючее богатство».

ВЫБОР

Мне кажется, смерть художника не следует выключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее, заключительное звено.

О. Мандельштам. «Скрябин и Христианство»

Телефонный разговор, состоявшийся между Сталиным и Пастернаком, прерывается на самом интересном:

Пастернак. Хотелось бы встретиться с вами, поговорить.

Сталин. О чем?

Пастернак. О жизни и смерти...

Именно об этом всю свою жизнь говорил Мандельштам. О жизни и смерти! Ни о чем другом. В конце концов он швырнул в лицо злодею отлитые из бронзы слова: «Власть отвратительна как руки брадобрея...» («инстинкт самосохранения давно отступил перед эстетикой»¹) и совершенно сознательно выбрал для себя «жизнь, полную смерти»², набросил ее себе на плечи, как гоголевскую шинель.

ДУЭЛЬ

27 ноября 1913 г. в «Бродячей собаке» Мандельштам вызвал Хлебникова на дуэль. «Я как еврей и русский поэт считаю себя оскорбленным...» и т.д.

¹ Бродский И. «Сын цивилизации».

² Аннинский Л. Осип Мандельштам: «...но люблю мою бедную землю...».

Дуэли входили в моду.

Незадолго до этого на Черной речке стрелялись Гумилёв с Волошиным. Никто никого не застрелил, однако поссорились на всю жизнь.

Виктору Шкловскому и Павлу Филонову (секундантам Хлебникова и Мандельштама) удалось дуэль предотвратить.

...Много лет спустя уже в Москве Мандельштам пытался выхлопотать для Хлебникова комнату (как всегда безуспешно), а однажды, случайно встретившись с ним в Госиздате, потащил обедать к знакомой уборщице, работавшей в Доме Герцена.

Уборщице кто-то сказал, что Хлебников — странник, и она почтительно называла его батюшкой. Хлебникову это понравилось¹.

О несостоявшейся дуэли Мандельштама с А. Толстым ходили легенды.

...Осип Эмильевич искренне был поражен, как это Толстой не вызывает его на поединок, хотя бы на рапирах, которые наш прирожденный дуэлянт своевременно раздобыл в бутафорской Камерного театра.

Ожидая секундантов, Мандельштам рьяно тренировался...²

Парефразируя дневниковую запись Жюль Ренара («Дуэль всегда немного похожа на репетицию дуэли»), возьму на себя смелость предположить, что и человечес-

¹ Старкина С. Велимир Хлебников.

² Мариенгоф А. Бессмертная трилогия.

кая жизнь со всеми её надеждами и разочарованиями порой напоминает репетицию спектакля, который вот-вот должны отменить из-за невежества публики, финансовых неурядиц и бесконечных актёрских склок.

«ВТОРАЯ РЕЧКА»

27 января 1837 года в районе Чёрной речки состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом.

27 декабря 1938 года в лагере «Вторая речка» умер Осип Мандельштам.

I

Церковная хрупкая свечка
горит и горит, не сгорая...
Зловещая Черная речка
и черная речка Вторая.

Монету — орел или решка —
подбросил, со смертью играя...
Зловещая Черная речка
и черная речка Вторая.

Плохая, должно быть, примета —
играть рукояткой узорной
упавшего в снег пистолета
на речке январской и черной.

Нечаянный выстрел, осечка,
и эхо вороньего грая.
Зловещая Черная речка
и черная речка Вторая...

II

Не чуя огромной страны,
он бредил ключом Ипокрены
и видел кровавые сны —
грядущие казни, измены.

Он был собеседник ничей.
И вот отыскалось местечко —
болотистый мутный ручей,
Вторая, декабрьская, речка.

ДЕТСКИЕ СТИХИ

Я совсем маленький. Мама кормит меня из ложки
манной кашей и, чтобы ускорить процесс, нараспев (с выражением) читает стихи:

— Ты куда попала, муха?
— В молоко, в молоко.

— Хорошо тебе, старуха?
— Нелегко, нелегко.

— Ты бы вылезла немножко.
— Не могу, не могу.

— Я тебе столовой ложкой
Помогу, помогу.

— Лучше ты меня, бедняжку,
Пожалей, пожалей,

Молоко в другую чашку
Перелей, перелей.

Много позже (уже в зрелом возрасте) я узнал, что это стихи Мандельштама. Оказывается, впервые я познакомился с его поэзией почти 60 лет назад в далеком 1954 году, пяти лет от роду.

«Я НЕ УВИЖУ ЗНАМЕНИТОЙ ФЕДРЫ...»

Читал ли Мандельштам «Федру» Расина? Аверинцев не придавал этому особого значения:

Одни интерпретаторы склонны априорно ожидать от поэта в каждой строке чудес эрудиции, другие, напротив, ссылаются на отложившиеся в анекдоты отголоски пересудов о пробелах в его познаниях, задают провокационные вопросы, вроде такого, например: а дочитал ли он до конца хоть «Федру» Расина, ту «знаменитую «Федру» <...> — которую возвел в ранг одного из абсолютных ориентиров вкуса и нескончаемыми аллюзиями на которую в таком изобилии насыщал свои стихи и прозу?¹

А вот Жирмунский по свидетельству Л.Гинзбург был почти уверен, «что Мандельштам не читал “Федру”; по крайней мере, экземпляр, который Виктор Максимович лично выдал ему из библиотеки романо-германского семинария, у Мандельштама пропал, и скоро его нашли на Александровском рынке»².

¹ Аверинцев С. Судьба и весть Осипа Мандельштама.

² Гинзбург Л. Записи 1920–1930-х годов.

Он же впервые обратил ее внимание на странность стихов:

И ветром развеваемые шарфы
Дружинников мелькают при луне...

«Какие могут быть у оссиановских дружинников шарфы?» — недоумевал он.

КРЫША НАД ГОЛОВОЙ

«...кто осмелится сказать, что человеческое жилище, свободный дом человека не должен стоять на земле как лучшее ее украшение и самое прочное из всего, что существует?»

О.Мандельштам, «Гуманизм и современность»

Перелистывая книгу Рюрика Ивнева «Богема», наткнулся на замечательный диалог:

— Осип Эмильевич, куда вы?

— Милый Рюрик, если б у меня был дом, я сказал бы, что иду домой. <...>

— Но вы же где-то ночуете?

Мандельштам:

— Иметь крышу над головой не означает, что ты имеешь дом.

Как известно, Мандельштам никогда не имел ни постоянной крыши над головой, ни, тем более, дома (квартира в Нащокинском не в счёт)...

Вполне возможно, что страсть к перемене мест Мандельштам унаследовал от матери, которая была одержима почти маниакальной страстью к переездам.

«Причины были самые неожиданные, но выяснялись они обычно только к весне, после очередного осеннего переезда. То ее не устраивал этаж, то детям было далеко ездить в школу на Моховую, то мало было солнечных комнат, то неудобной оказывалась кухня...» — вспоминал брат поэта, Евгений. О мандельштамовской «детской тоске по дому, от которого всегда бежал...» рассказывает Марина Цветаева в мемуарном очерке «История одного посвящения». Да и сам он постоянно говорит об этом.

В стихотворении «Паденье — неизменный спутник страха...» (1912) Мандельштам восклицает:

Твой жребий страшен и твой дом непрочен!..

В другом стихотворении («1 января 1924») пишет:

Мне хочется бежать от своего порога.

Наконец, в широко цитируемом восьмистишии, написанном в 1937 году «Я скажу это начерно, шепотом...», он как бы подводит итог всему ранее сказанному:

И под временным небом чистилища
Забываем мы часто о том,
Что счастливое небохранилище —
Раздвижной и прижизненный дом.

И все-таки, напоследок — строка из стихотворения «Мне скучно здесь...» (1916):

Нас дома ждет Эдем...

...Перед самой гибелью (в 1938 г.), прощаясь с Ахматовой на Московском вокзале, Мандельштам произносит удивительные слова: «...всегда помните, что мой дом — ваш»¹.

РАЗЛУКА

— Сколько времени ты мог бы любить
женщину, которая тебя не любит?

— Которая не любит? Всю жизнь...

Оскар Уайльд

После долгого отсутствия вернулся домой в пустую неприбранную квартиру. Зашел в ванную. Из-под полотенца выпорхнула моль. «Ну вот, хоть кто-то живой есть в доме». Как ни странно, почувствовал себя не так одиноко.

Из письма:

...вдруг остро ощутил абсолютную бессмысленность всего происходящего, всей моей жизни, включая наш, если так можно выразиться, брак, всех этих бесконечных потуг направленных на достижение цели...

Вспомнил строку Мандельштама: «Нет стройных слов для жалоб и признаний»² и слова Ахматовой, обращенные к нему: «Никто не жалуется — только вы и Овидий жалуетесь»³.

¹ Ахматова А. Листки из дневника. Воспоминания об О.Э. Мандельштаме.

² Мандельштам О. «Змей» (1910).

³ Гинзбург Л. Записи 1920–1930-х годов.

Отдернул занавеску, посмотрел в окно, потом — на календарь. Если верить тому, что написано — суббота, 3-е августа, год 2013-й.

СЕНТЯБРЬ

В хорошую я попал компанию: профессор Секундо, доктор Шульц, медсестра Фатима и одноглазый карлик Густав в очках, с бородой и усами, напоминающий одновременно Солженицына и Достоевского.

Карлик с важным видом расхаживает по палате, на нем зелёная майка и синие трусы. У него крепкий торс, мощные волосатые руки. С утра, нахлобучив на голову непомерно большие наушники, он садится за стол и целый день слушает классическую музыку. Перед ним гора компакт-дисков, он их перекладывает с места на место, как карты Таро...

Я в Марбурге. В глазной клинике, где мне сделали операцию по удалению катаракты, после чего глаз ослеп. Теперь врачи пытаются восстановить зрение. Была вторая операция. Потом третья... Я уже немного вижу.

У меня ноутбук. На нем — Хичкок, Балабанов, Бергман.

Больница напоминает сумасшедший дом или (что нагляднее) один из кругов ада. Мимо проносятся ангелы в белых халатах, похожие на оперных злодеев (может, все-таки черти?).

...Внезапно двери распахиваются, и в коридор на электрическом (чуть не написал: стуле) самокате въезжает огромный и очень важный немец, чем-то похожий на режиссёра Хотиненко. Правой рукой он сгребает со стеллажа кучу окровавленных пробирок и уносится прочь...

СЕНТЯБРЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Вчера сделали укол (прямо в глаз), после чего в течение дня ужасное черное пятно («черное солнце») болталось в левом глазу, приводя меня в ужас — вдруг оно останется там навсегда. Оказалось, это всего лишь пузырёк воздуха. Со временем пятно исчезло.

...Пожилой турок лопочет что-то невнятное на своем ужасном немецком, что-то связанное с «урологией», где он провел последние три дня, тычет пальцем себе в пах, рассказывает какие-то пикантные подробности...

У Балабанова (в «Кочегаре») и у Бергмана (в «Молчании») обнаружил один и тот же приём. Герои в схожих обстоятельствах (почти слово в слово) говорят одну и ту же фразу: «Здесь невыносимо жарко».

Балабанов умер как-то внезапно, нелепо, ему и 55 не было. Успел сыграть в своём последнем фильме, где его персонаж предсказывает собственную смерть.

Посмотрел еще раз «Фанни и Александр» Бергмана. В память врезались слова из пьесы Стриндберга, прозвучавшие в конце фильма:

Все может быть, все возможно и вероятно, времени и пространства не существует, на тонкой канве действительности воображение плетёт и вяжет новые узоры.

«СЛИШКОМ МНОГО ЦИТАТ!..»

Есть свирель у меня из семи тростинок
цикуты...

Публий Вергилий Марон. «Эклога II»

Немногочисленные друзья, которым я давал читать эти заметки, все как в один голос убеждали меня: «Слишком много цитат!..» Я сокрушенно кивал головой, но изменить ничего не мог.

Откуда эта потребность подбирать чужие слова? Свои слова никогда не могут удовлетворить; требования, к ним предъявляемые, равны бесконечности. Чужие слова всегда находка — их берут такими, какие они есть; их все равно нельзя улучшить и переделать. Чужие слова, хотя бы отдаленно и неточно выражающие нашу мысль, действуют, как откровение или как давно искомая и обретенная формула. Отсюда обаяние эпиграфов и цитат.

(Из дневников Лидии Гинзбург)

Цитата — цикада¹ — цикада.

¹ «Цитата не есть выписка. Цитата есть цикада. Неумолкаемость ей свойственна. Вцепившись в воздух, она его не отпускает. Эрудиция далеко не тождественна упоминательной клавиатуре, которая и составляет самую сущность образования».

Мандельштам О. Разговор о Данте.

Из письма:

...Для того чтобы добиться признания в эпоху заката эры Гуттенберга, одного участия в литературной поножовщине явно недостаточно. Надо либо научиться извлекать выгоду (в том числе материальную) из политических междоусобиц, либо потакать читающей комиксы толпе («Это солнце ночное хоронит возбужденная играми чернь...»¹), либо... обладать «гениальной способностью быть бесконечно скучным», как сказал по другому поводу Вадим Шершеневич (не путать с Виктором Шендеровичем).

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В конце октября вернулся в Киев. Поселился на улице Бассейной рядом с магазином «Феллини» (торговля обувью), в трех шагах от бессарабского рынка.

Возле подъезда печальный чёрт с осыпавшейся с плеч позолотой сидит на корточках в позе роденовского мыслителя. На мемориальной доске надпись: «В этом доме жила Голда Меир».

Льет дождь.

Редкие прохожие прячутся под зонтами...

ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ

Когда-то, очень давно, написал стихотворение, посвященное Мандельштаму, эпиграфом к которому послужила строка И. Анненского.

¹ Мандельштам О. «Когда в теплой ночи замирает...».

ПАМЯТИ О.М.

Желтый пар петербургской зимы...

И. Анненский

О, эта каменная желтая бравада!
Широких улиц темный разговор...
Из проруби времен, из третьей песни «Ада»
он выбрался — с трудом — на гибельный простор...
Над Петроградом медленные ночи,
и волосы Невы по каменным плечам
разбросаны...

И только совсем недавно из книги О. Лекманова «Осип Мандельштам: Жизнь поэта» узнал, что с вырванным из «Аполлона» листком, где было напечатано стихотворение Анненского «Петербург», Мандельштам не расставался на протяжении всей своей жизни.

ПЕТЕРБУРГ

Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты...
Я не знаю, где *вы* и где *мы*,
Только знаю, что крепко *мы* слиты.
Сочинил ли нас царский указ?
Потопить ли нас шведы забыли?
Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни да страшные были.
Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,

Где казнили людей до рассвета.
А что было у нас на земле,
Чем вознесся орел наш двуглавый,
В темных лаврах гигант на скале, —
Завтра станет ребячьей забавой.
Уж на что был он грозен и смел,
Да скакун его бешеный выдал,
Царь змеи раздавить не сумел,
И прижатая стала наш идол.
Ни кремлей, ни чудес, ни святынь,
Ни миражей, ни слез, ни улыбки...
Только камни из мерзлых пустынь
Да сознание проклятой ошибки.
Даже в мае, когда разлиты
Белой ночи над волнами тени,
Там не чары весенней мечты,
Там отравы бесплодных хотений.

(И. Анненский)

ЧЕРНОВИКИ

Чрезвычайно любопытны черновики Пастернака: между первыми набросками и конечным результатом разница примерно такая же, как между каракулями трёхлетнего ребёнка и рисунками позднего Леонардо.

О чем бы я ни думал, мысли постоянно возвращаются к Мандельштаму.

Кто-то (не помню кто, чуть ли не Вознесенский) заметил, что у Пастернака нет слабых строчек. Конечно, есть. Например:

Забором крался конокрад,
Загаром крылся виноград...
(«Цыганских красок достигал...»)

«...поэзия Пастернака <...> безвкусна потому, что бессмертна»¹, — так, несколько путано, выразился Мандельштам.

«ВЫСОКОЕ КОСНОЯЗЫЧИЕ»

Георгий Адамович в статье «Несколько слов о Мандельштаме» вспоминает строку Блока (он считал Блока «гением интонации»), которая, по его мнению, «вернее всего определяет сущность мандельштамовской поэзии, хотя у Блока она относится к женщине: “Бормотаний твоих жемчуга...”». Далее Адамович приводит несколько строк Мандельштама:

Декабрь торжественный струит свое дыханье.
Как будто в комнате тяжелая Нева,
Нет, не Соломинка, — Лигейя, умирание —
Я научился вам, блаженные слова...

И в заключение пишет:

«Это действительно — “высокое косноязычие”, по Гумилеву, да и можно ли было бы косноязычие это прояснить?»

¹ «Заметки о поэзии» (1923).

НОЯБРЬ

Из письма:

...Ты обижаешься, что я редко пишу. Причина проста: вот уже пятнадцать лет я вынужден ежедневно просматривать десятки (а то и сотни) страниц чужих текстов (вместо того чтобы писать свои!). Кроме того, приходится заниматься версткой. Таким образом, выработалась устойчивая идиосинкразия к печатным знакам.

Как нитки ожерелья, строки рвутся,
и буквы катятся куда хотят...¹

Да и никаких особенных новостей у меня нет.

В конце ноября два дня провел в Петербурге. Ночевал в огромном сером здании, в котором когда-то жил Довлатов.

Вспомнил Коктебель (по дороге мы с тобой поругались). Я занес чемоданы и пошел к морю, на набережную. Едва присел на скамейку, появился Андриевский (как чёрт из табакерки) и ни с того ни с сего процитировал Довлатова: «Лежу совершенно один, с женой...»

Я долго смеялся.

Говорят, Виктор Некрасов в последние годы жизни обронил: «Я могу читать только двух писателей: Бунина и Довлатова».

Пиши...

P.S. Мне так не хватает тебя, особенно когда ты рядом.

¹ Рильке Р.-М. «За книгой», перев. Б. Пастернака.

БЕНЕДИКТ ЛИВШИЦ

Уже кипит в сердцах обида...

Б. Лившиц «Эсхил»

«Я учусь у всех — говорил Мандельштам, зорко поглядывая по сторонам, — даже у Бенедикта Лившица»¹.

С Лившицем он сдружился настолько, что тот в своих мемуарах назвал его «товарищем по оружию».

Именно Лившиц весной, когда Мандельштамы перебрались из Киева в Москву, ходил с ними в загс и присутствовал при регистрации их брака.

«Бритый, с римским профилем, сдержанный, сухой и величественный, Лившиц в Киеве держал себя как “мэтр”: молодые поэты с трепетом знакомились с ним, его реплики и приговоры падали, как нож гильотины: “Тумилев — бездарность”, “Брюсов — выдохся”, “Вячеслав Иванов — философ в стихах”. Он восхищался Блоком и не любил Есенина. Лившиц пропагандировал в Киеве “стихи киевлянки Анны Горенко” — Ахматовой и Осипа Мандельштама. Ему же киевская молодежь была обязана открытием поэзии Иннокентия Анненского»².

Скорее, товарищем по несчастью был ему Мандельштам: 21 сентября 1938 года Бенедикта Лившица вместе с Юрием Юркуном и Валентином Стеничем расстреляли по ленинградскому «писательскому делу».

...Плыви, плыви, родная феорида,
Свой черный парус напрягай!³

¹ Мандельштам Н.Я. Вторая книга. М., 1999.

² Терапиано Ю.К. Встречи: 1919–1971. М., 2002.

³ Лившиц Б. «Эсхил».

КЛОЧЬЯ ДЫМА

«Безнадежно. Читаешь все, и ничего не запоминаешь. Как ни напрягаешься, все ускользает. Только кое-где остается несколько клочьев, едва различимых, как клочья дыма, указывающие, что поезд прошел».

Жюль Ренар, «Дневники»

Начать с Лаокоона, затем плавно перейти к Гессе, не забыть Бурлюка, вспомнить о Феллини и лишь затем, вздохнув полной грудью, произнести:

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда...¹

Или — совсем уж невозможное:

Пою, когда гортань сыра, душа — суха,
И в меру влажен взор, и не хитрит сознание:
Здорово ли вино? Здоровы ли меха?
Здорово ли в крови Колхиды колыханье?²

NIL REPUTARE ACTUM...³

Последняя цитата:

...перечитывать себя без тени нежности, без чувства отцовства, с холодной и критической остротой, в жестоком творческом ожидании смешного и уничижительного, с полным безучастием, с рассудительным взглядом, — значит, переделать свой труд или предчувствовать, что можно переделать его совсем наново⁴.

¹ *Мандельштам О.* «Сохрани мою речь навсегда...»

² *Мандельштам О.* «Пою, когда гортань сыра, душа — суха...»

³ Ничто не считать законченным (*лат.*)

⁴ *Валери П.* Об искусстве.

«И РЕКВИЕМА МЕДЬ...»

(Из записных книжек)

Мне Моцарт что-то обещал...

С.Илличевский

* * *

Совершенно некстати вспомнился эпизод из фильма «Женщина в желтых кроссовках», который посмотрел накануне:

Столик в кафе.

Мужчина и женщина. Оба немолоды.

Мужчина:

— Чем вы занимаетесь?

Женщина:

— Пишу роман.

— О чем?

— О правильной стимуляции клитора. Мужчины в этом ничего не смыслят.

* * *

Я открываю тяжелую двойную дверь и погружаюсь в душный полумрак чужого жилища.

Две комнаты, большая неприбранная кухня. Рассыпающаяся на части мебель. На подоконнике — транзистор образца 1967 года...

Квартира нафарширована книгами. Даже в туалете — какой-то справочник. Тут можно найти абсолютно всё: от полного собр. соч. Диккенса до 6-ти томов Майн Рида (правда, в другом шкафу и в другой комнате).

* * *

Опоздав на 20 минут, Вероника выныривает из метро. Я вручаю ей розу, и мы отправляемся в кафе с «египетскими фресками», расположенное неподалеку (раньше здесь было казино).

Не успев войти, она вдребезги разбивает стакан с яблочным соком.

— Хорошо, что не виноградный, — шепчет она.

Я пытаюсь отвлечь ее от мрачных мыслей:

— Послушай анекдот... Больной на приеме у врача. «Доктор, что со мной? Куда ни ткну пальцем — в бок, в сердце — везде адская боль...» Доктор: «У вас палец сломан!»

Вероника вежливо смеется.

Я исподтишка люблю ее нервным, чувственным ртом, потом вдруг (непонятно, почему) вспоминаю еврейский квартал в Париже, где мы год назад бродили с ней под дождем...

— Париж... — говорит она, как будто читает мои мысли. — Я себя тогда ужасно чувствовала. Всё было, как во сне...

* * *

Камень, брошенный в реку...

Круги по воде...

— Мне вот эту, зеленую.

Усталые глаза — из зеркала — не мои глаза. Какая-то чепуха. Причем здесь шляпа?

— Нет, не беру...

...Цветы-великаны. Лес одуванчиков. Белые панамки.
— Пойдем на вал. Смотреть, как поезда...
Поезда — мимо. В голубую мглу. Ромашки и поезда.
— Пойдем на вал...

* * *

Я — Иконниковой (в шутку):
— Да на тебе пахать можно. Ты здорова, как бык...
Она:
— У меня два диагноза...
Как-то спрашиваю (по дороге в гастроном):
— Иконникова, что-то никак не пойму: ты умная
или глупая?
Она (не задумываясь):
— Я несчастная!

* * *

Мама сидит напротив, все еще красивая, восьмидесятивосьмилетняя. На ней синий шелковый халат. Мы пьем кофе. В этом году необычайно ранняя весна. Термометр за окном показывает +18.

— Когда ты вернешься? — спрашивает она.
— Дней через десять...
Мы оба знаем, что я говорю неправду.

* * *

В Мюнхене на первом съезде русских поэтов, живущих в Германии, куда я попал по недоразумению, некий

автор, с которым до этого мы общались только по телефону, сказал: «Я думал, у вас горб, все редакторы — горбатые...»

Ему так понравилось эта шутка, что он повторил ее несколько раз, разговаривая в буфете с одной довольно известной (в эмигрантских кругах) поэтессой.

* * *

...Я стоял у окна. Сквозь частое вздрагивание листвы я вдруг увидел брата, уходящего все дальше и дальше... Несколько раз он останавливался, и тогда мне казалось, что он смотрит в мою сторону.

* * *

Из стихов Н.Курилко:

Данута,
мой ангел бездомный,
я остаюсь все такой же:
четырнадцать шагов
наискосок
по шумному залу
с бокалом шампанского,
и на губах
лепестки
помертвелой
сирени...
Данута,
проворный чертенок...

* * *

Позвонила К.: «Последний номер¹ просто ужасный... Хуже еще не было. На каждой странице — похороны...»

Z. о том же: «А почему у вас в стихах постоянно говорится о смерти? Вы что, больны?»

Да разве здоровые люди пишут стихи... В лучшем случае — плохую прозу.

В игольчатых чумных бокалах
Мы пьем наваждение причин...

* * *

Единственная книга, по прочтении которой тут же захотелось сесть и написать что-нибудь стоящее — «Женский портрет» Джеймса (недавно прочел «Плексус» Генри Миллера — то же впечатление).

* * *

Бульдог по кличке «Гонкур».

* * *

«...Вот и обнаружилось третье — на кого еще похож старик — да на Исаака Моисеевича, считавшего себя изобретателем калейдоскопов, только он был похудее и без ореола. Наверное, старика уже нет в живых. Никто не называл его Исааком Моисеевичем — все Ишаком Моисеевичем — но тот не слышал, а если слышал, то стоит ли обращаться на дураков

¹ Речь идет о журнале «Крепщатик».

внимание! Глупо! И не смешно. Сам он, как выяснилось, тоже умеет использовать близкое звучание слов, но! когда это вызвано житейской необходимостью. Этот Исаак Моисеевич втравил уважаемого заведующего — Льва Вениаминовича понимающею толк в одной лишь бумаге, — открыть производство калейдоскопов. Уговор: Исаак Моисеевич, как изобретатель, будет получать с каждого выпущенного калейдоскопа одну копейку (в те времена — десять). Для начала раздобыли два мешка отходов прозрачного оргстекла. Исааку Моисеевичу поручена была покраска. Взялся он покрасить у себя дома — но развел такую вонь, что жена его выставила. И вот Исаак Моисеевич с победоносным видом притаскивает два мешка. Далее диалог с Львом Вениаминовичем: — Что это такое, Исаак Моисеевич? — Как что? Засыпка. — Но вы же сказали, что принесете — крашеную. — Нет, я этого не говорил. — Как не говорили, а что же вы говорили? — Я не говорил, что принесу крашеную, я сказал — крошеную — я три дня разбивал ее молотком. — Нет, вы сказали — крашеную! — Нет, сказал — крошеную.

Крашеную, крошеную, крашеную, крошеную, краш, крош, краш, крах, кыш, брысь!»

Александр Цыбулевский
(из книги «Владелец шарманки»)

* * *

Некто Г. в юности сочинял стихи:

Да разве можно говорить о снах,
Когда такое на дворе творится,
Что улица написана в стихах,
И кто-то странный в белое рядится...

Кто суматоху поднял среди крыш,
На горизонте вычертил деревья...

и т.д.

Теперь он работает на телевидении.

* * *

«Когда моя сестра еще не заболела болезнью Боткина, мы с ней играли на рояле в четыре руки».

* * *

При слове «Бог», как и при слове «контрацепция», меня передергивает.

* * *

Нимб порой напоминает мишень.

* * *

Где-то у Оскара Уайльда:

«Я сегодня неплохо поработал: убрал лишнюю запятую».

* * *

После Жюль Ренара (его дневников) на протяжении долгого времени не мог заставить себя читать прозу — казалась громоздкой и ненужной, — пока однажды (в который раз!) не открыл Диккенса.

— Ты ведь еще помнишь те времена, когда двойная половинка стоила всего восемь копеек? Помнишь? «Бульонка»... «Латинский квартал»... Вечно пьяный Соханевич... Гроза Крещатика — Шаповал... Хотя и милиционер, но человек достойный, по-своему справедливый. Баба Лена, скупщица краденого:

— Ну и сколько ты хочешь за цю фигню?..

Помню, как впервые попал на Крещатик. Принц познакомил меня со своими друзьями.

— Это кто? — спрашивал я после очередного знакомства и очередной бутылки вина.

— Стукач.

— А это? — спрашивал я через полчаса о ком-то другом, с кем тоже было выпито немало вина.

— О, это большой стукач, — терпеливо объяснял Принц.

Сплошные агенты КГБ.

— А это кто? — уже под вечер, в какой-то подворотне.

— Это гениальный поэт, Николай Курилко.

— А что он написал?

— *«К чему мне равенство, когда я одинок!»*

— Это всё?

— Всё.

— А еще что-нибудь он написал? — мне как-то не верилось, что этот малый с кривым лицом, с которым мы только что выпили бутылку водки — гений.

— Еще?

- Да. Что он еще написал?
 - Еще он написал стихотворение «Горы».
 - Прочти.
 - Оно очень короткое...
 - Тем более прочти.
- После долгой паузы:
- *Безмерным озарен!*

Сам Принц — не то художник, не то поэт.

Как-то договорились встретиться на Главпочтамте. Я прождал его полчаса и ушел. Через несколько дней случайно оказался на том же месте. Навстречу Принц:

- Привет, старик, ты меня еще ждешь?

Кто говорил о гибели идей,
Кто говорил о гибели пространства, —
Не те ли, чьих подкидышей-детей
Увидел я под крышей христианства?¹

Ну что ж, пророчества поэтов сбываются!

...Помнишь, Принц, как мы поднимались к Стефану в его мастерскую, туда, на седьмой этаж, на «седьмое небо», где вечно пьяный Поливанов колдовал над бюстом «вождя и учителя», а Стефан щурил хитрые глазки и торжественно, нараспев, словно заклинание, произносил волшебное слово: «заказчик»? — нет ответа!

Примерно в это же время Л. Аронзон в Ленинграде пишет одно из лучших своих стихотворений:

¹ Из стихов А. Принца.

Несчастью как-то в Петербурге.
Посмотришь в небо — где оно?
Лишь лета нежилой каркас
гостит в пустом моем лорнете.
Полулежу, полулечу.
Кто там полудетит навстречу?
Друг другу в приоткрытый рот,
кивком раскланявшись, влетаем.
Нет, даже ангела пером
нельзя писать в такую пору:
«Деревья заперты на ключ,
но листьев, листьев шум откуда? —

дата написания, предположительно: ноябрь 1969 года.
Впрочем, о существовании Аронсона (и о трагической его судьбе) я узнал много позже.

По утрам похмелялись в «Гроте»; пьяный Мотрич нависал над собеседником и говорил всегда одно и то же:

— Хотите, я вам хорошие стихи почитаю?

Он был родом из Харькова. Несколько лет жил в Киеве. Пил и читал случайным прохожим хриплым голосом трагические стихи:

Ночь длиннее, чем жизнь, я лежу опрокинутый звуками.
Темнота, будто Вагнер, аккорды бессмертья берет.
Возвращайся, душа, пробирайся ко мне переулками,
Я — твой лагерь, пусть радость тебя захлестнет.

Я — сгоревший твой дом, а цветы не растут на пожарищах.
Только пепел да гарь, только ветер в пролетах свистит.
Мы жилища найдем, мы забудем бежавших товарищей,
Ночь, играй, теснотой сжимая виски.

Пусть угарно и душно — у Вагнера хватит терпенья:
Струны болью звенят под ударом тугой темноты...
Кто-то новый придет, и подслушает звонкое пенье,
И расчистит меня, и на чистом посадит цветы.

Рядом — Коля-горбатенький с пустым стаканом в руке, с бессмысленной улыбкой на измятом лице, автор нашумевшего стихотворения:

Я геніальніш ніж Гомер,
Бо я живий, а він помер...

(интересно жив он еще или наконец сравнялся талантом с Гомером?), а также другого, не менее удачного четверостишия:

Люблю красивых женщин,
А некрасивых — нет.
Ценю в них ум тенденций
И разность многих лет.

Эти «ум тенденций» и «разность многих лет» преследовали меня потом на протяжении всей моей жизни. Еще у него была такая строка: «Моя душа лелеет к облакам».

Разве упомнишь всех!

...Как не вспомнить Н, гордость Крещатика тех лет, поэта «во что бы то ни стало», бомбардировавшего

го издательства своими зловещими стихами: «Конъюнктивит, трахома, катаракта...» — это из больничного цикла.

Помню, как на мой вопрос, кто его любимый поэт, N произнес совершенно для меня не знакомое имя Мандельштама.

Стояла поздняя осень. Мы прогуливались возле центрального универсама, N читал стихи, ветер гнал листву по улице Ленина¹, мне казалось, что жизнь и поэзия — навсегда...

N давно в Америке. Я (кто бы мог подумать) в Германии. И только Коля Курилко по-прежнему живет в Боярке² в полуразвалившемся домике неподалеку от озера, занесенном осенью — листьями, а зимой — снегом.

Молчи, молчи, я песен не желаю,
Сегодня осень, гибели пора,
И бледный ветер сад опустошает —
Не доживет он даже до утра.

Не потревожь же осени печальной
Ни горькой песней, ни рыданием своим,
Пускай листва еще необычайней
Летит сквозь осень, словно красный дым.

Это из его стихов, посвященных Циприану Норvidу.

¹ Ныне Богдана Хмельницкого.

² Николай Курилко умер весной 2004 г.

Именно тогда открыл я для себя гениальную поэзию Плужника, монументальную его поэму «Галілей». Спустя четверть века я перевел ее на русский:

...И когда вдоль витрин, где огни, как в бреду,
Я иду в золотой круговерти —
Мне уже все равно — как по тонкому льду! —
Мимо жизни и смерти...

И именно в те годы попала мне в руки книга Микола Хвильового «Осінь», книга, которая потрясла меня. Позже я узнал, что Хвильовый застрелился 13 мая 1933 года. В 1970 г. (через 37 лет) тоже 13-го числа, но только в октябре, застрелился Аронзон (возможно, аналогия здесь неуместна).

И вот теперь в Германии много лет спустя я осторожно переворачиваю пожелтевшие страницы старинного издания (книга издана в Харькове в 1924 году в издательстве «Червоний Шлях») и с удивлением и благодарностью читаю:

«...І Франція, Париж. Але навіть останній скептик — Анатоль Франс покинув сумніви. Милий друже: осінь то — спостереження»¹.

* * *

Москва — тревожный город...

Спали на узкой кушетке среди книг и засушенных цветов.

¹ Микола Хвильовий. «Осінь». Харків, 1924.

Утром пили крепкий чай. Хозяйка стряхивала пепел в антикварную пепельницу и то и дело цитировала Гумилева.

Вероника методично ела апельсины, я думал о том, что пора уезжать в Киев, потом в Германию. Шел ровный московский снег...

* * *

1955 год. Мама везет меня в Крым. У меня астма.

Я не хочу оставаться. Мы оба плачем. Отвесная стена моря.

Когда вернулся, плел всякие небылицы о Турции, о папуасах...

* * *

— Двери мешком накрытые.

— *Что, что, что?*

— Двери мешком накрытые...

— А ну-ка дай, я посмотрю... двери межкомнатные...

* * *

1953 год. Мое первое стихотворение:

Дядя Вася Калмыков,
он залез под потолков.

Мне 4 года. Дядя Вася — маляр (запойный пьяница), возможно, татарин.

* * *

Мама поет:

Чайный домик словно бонбоньерка,
с палисадником китайских роз...

— Еще, еще...

В кабаре Шенуар на Монмартре
В красном фраке танцует мулат...

* * *

Саша-Удав за стойкой в «Крещатом Яре».

— Я скоро умру...

«Разве можно такие слова произносить спокойно-но?» — думаю я.

— Через две недели, — продолжает Удав. — Почки отказали.

Он действительно вскоре умер.

* * *

— Вы не Факторович?

— Нет.

— Ну ничего, бывает...

* * *

Вчера с Мурашевским и Ядловым сидели на Дерибасовской под чудесным осенним солнцем, говорили

всякую чепуху. Мурашевский без конца повторял строку (вернее обрывок строки), пришедшую ему в голову утром в туалете: «Остывает член...»

— Я обязательно напишу об этом, — приговаривал он, демонически улыбаясь.

Вернулся в Киев и тут же накатал пародию:

Моя душа — коллизии идей,
Фаллически зависших в мирозданье...
Вот Штирлиц — горбоносый иудей —
осуществляет важное задание.

.

Уже оголены мечи,
уже взрываются петарды,
но ты, художник, не молчи,
пока народ играет в нарды.

Сны вещие осуществляй —
на то и созданы аэды, —
не жди признания и твердо знай:
тобой займутся логопеды!

* * *

Подъезжая к Санкт-Петербургу, миновали станцию Шушары. От Витебского вокзала прямая ветка метро — сошли на площади Мужества. Там живет Игорь. Явился в двенадцать ночи, пьян и говорлив. Потащил на Невский.

* * *

- Скажіть, коли ви написали свій перший вірш?
 - Свій перший вірш я написав п'ятнадцять років тому.
 - А над чим ви працюєте зараз?
 - Зараз я працюю над своїм другим віршем.
- (На русский не переводится.)*

* * *

Иконникова, собирая вещи и не находя книжки под названием «Всегда ли правы родители?», которую вот уже месяц таскает за собой в дырявой авоське, озабоченно бормочет:

- Куда я литературу вклала?..

* * *

Сегодня целый день бродил по Киеву. За три часа встретил одного знакомого, и тот приехал из Штатов.

* * *

К Илличевскому меня привел Зорик.

* * *

Всю ночь снилась Немирова. Вчера посмотрел «Сарабанду» Бергмана. За окном ветер. Катя говорит, что ей надоел Бремен, кругом — турки, а у меня в деревне ей хорошо. Мне кажется, я наконец начинаю стареть. Как говорил Сережа Чалый: «Молодость я просрал. Чувствую, что начинаю просерать старость...»

Лет двадцать тому назад обнаружил у Винокурова в его рассуждениях о поэзии (изданных отдельной книжкой) неточную цитату из Мандельштама. У Винокурова:

Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
Но люблю мою бедную землю,
Потому что иной не видал.

У Мандельштама: «*Оттого* что иной не видал».

Казалось бы, невелика разница, но в варианте Винокурова поэзия отсутствует начисто.

...А вчера по ОРТ транслировали юбилейный концерт Евгения Петросяна. Ему, оказывается, уже шестьдесят. В течение нескольких часов юбиляра чествовали многочисленные персонажи «Кривого зеркала», а также Кобзон, Винокур и другие видные деятели отечественной культуры. В конце вечера распоясавшийся именинник приступил к чтению стихов Пастернака и Левитанского. Начал с первого:

Когда б я знал, что так бывает,
Когда **решался** на дебют...

У Пастернака эти строки звучат по-другому:

Когда б я знал, что так бывает,
Когда **пускался** на дебют...

Вряд ли кто-нибудь это заметил. Ну какая разница — *пускался*, *решался*...

Впрочем, стоит ли быть слишком строгим к Евгению Вагановичу, который, в общем-то, к поэзии не имеет прямого отношения, если даже Эдвард Радзинский умудрился в авторской телевизионной передаче о Блоке (несколько лет назад) допустить неточность, декламируя перед многомиллионной аудиторией стихотворение «Поэты». Первую же строфу он прочел неправильно:

За городом вырос пустынный квартал
На почве болотной и зыбкой.
Здесь жили поэты, и каждый встречал
Другого надменной улыбкой.

У Блока: «**Там** жили поэты...»

Но и Петросян и Радзинский — прекрасные декламаторы.

И вот что еще интересно: ни тот, ни другой, ни поэт Винокуров ни на йоту не отошли от смысла стихов. Они лишь нарушили строй гармонии:

Касаемся крючьями малых,
Как легкая смерть, величин...

Не об этом ли писал Мандельштам:

Я так и знал, кто здесь присутствует незримо,
Кошмарный человек читает «Улялюм».
Значенье — суета, и слово — только шум,
Когда фонетика — служанка серафима...

* * *

В начале 80-х в Киев приезжал Арсений Тарковский. На одном из творческих вечеров (в доме художни-

ков?) Игорь Каплиенко передал ему записку. Тарковский записку прочел, но никак не отреагировал. Тогда Капа написал еще одну записку, в которой потребовал, чтобы Тарковский дал оценку только что присланным стихам.

— Хорошие, милые стихи, — несколько растерянно произнес тот.

Речь шла о следующем стихотворении:

Словно хор из тысячи цикад
Монотонно прошлое звенит,
И под этот аккомпанемент,
Опаленный желтым зноем лета,
Я пасу стада печальных мыслей
И топча полынь воспоминаний,
Медленно кочую в Осень.

Поскольку Тарковский стихи похвалил (или почти похвалил), я со спокойной совестью опубликовал их в одном из первых номеров «Крещатика». Посмертно¹.

* * *

Честолюбие — двигатель внутреннего сгорания.

* * *

Как-то позвонила Леночка Андрианова, сочинительница маловразумительных стихов, уже не молодая женщина, с матросской походкой и плохой кожей лица:

— Ты не помнишь, что значит слово «мазумент»?

¹ Игорь Каплиенко погиб в автокатастрофе.

В первый момент я опешил, и только через несколько секунд до меня дошло, что слово-фантом произошло в ее отравленном никотином мозгу из двух других: «монумент» и «позументы».

* * *

Сначала пили в «Леваде». Потом переместились в «Грот». Оттуда вышли через четверть часа с бутылкой водки. Карабут с Кассандрой уснули прямо за столиком.

К вечеру в совершенно незнакомом подъезде обнаружил себя в странной компании: пожилая, но все еще красивая женщина (пьяная вдрызг), карлик и уже немолодой работник ОБХСС. Женщина прокуренным голосом пела романс «Гори, гори, моя звезда...» Карлик посапывая пил портвейн (стакан за стаканом) и закусывал маринованным чесноком. Работник ОБХСС оказался интеллектуалом — после первого же стакана водки начал читать стихи. В течение 15 минут он умудрился прочесть пространную поэму (в духе «Тамбовской казначейши») и не менее десяти лирических стихотворений собственного (по его словам) сочинения. Одно из них звучало приблизительно так:

Она сказала:

«Ты хороший, очень...»

и ушла.

А он пошел, пугая прохожих
своей огромной душевной болью.

Ты знаешь, я знал человека,
который был на луну поцелуем заброшен.

И люди видели, как в небо,
которое под мостом,
бросился человек,
перила отбросив...

* * *

Из школьных воспоминаний:

Аглая Франсовна (учительница физики) вызывает к доске ученицу 8-го класса Людмилу Корецкую.

— Что это? — вкрадчиво спрашивает заслуженная учительница республики, указывая пальцем на трансформатор, лежащий перед ней на столе.

Корецкая долго смотрит в окно, где под лучами холодного октябрьского солнца шелестит последней листвою облетевший тополь, потом — так же долго — на трансформатор и, наконец, с нескрываемым отвращением произносит:

— Автотранспорт!

* * *

Кстати. У Николая Курилко было замечательное стихотворение:

Когда я выхожу на закате из дому
и вижу вдалеке
силуэт облетающего тополя
во мне возникает целый вихрь ассоциаций
я могу сравнить его с чем угодно
но чаще всего я его сравниваю
со скупым рыцарем...

* * *

Приснился сон, будто сижу за письменным столом (за окном — сад) и листаю две толстые тетрадки, исписанные аккуратным (не моим) почерком. С увлечением читаю страницу за страницей.

Утром не мог вспомнить ни единого слова.

* * *

«В 1954 году в подмосковный санаторий под Люберцами приехал отдыхать Валентин Николаевич Старгородцев, преподаватель физики из города Ямска...» — хорошее начало для фантастического рассказа.

* * *

Как любил повторять Лессинг, у прогуливающегося любая кривая — прямая.

* * *

Остановился в «Пассаже», дешевой гостинице без удобств и без горячей воды. Зато близко к центру и недалеко от моря. Добирался на такси. Внезапно машина затормозила. Шофер (мальчишка лет 18) нарушил какие-то правила. Достал документы и пошел разбираться с гаишником.

— Сейчас, только дедушку в гостиницу отвезу.

Это он обо мне, с горечью и не сразу понял я. Дедушка — это я.

* * *

Из стихов А. Принца:

Зеленый лист,
последний, может быть,
из всех зеленых...
На сером тротуаре —
оброненной монеты брелчанье...
Как пусто!
И только кто-то ходит по деревьям...

* * *

Вордовский редактор подчеркнул слово «долюбить» (по всей вероятности отсутствующее в его словаре) и в качестве одного из возможных вариантов предложил слово «долбить».

* * *

Иконникова: «Пришли могилкопы и стали копать могилу».

Она же: «Штудируют почву».

* * *

Валера Вофси (в прошлом художник) вот уже несколько лет не может устроиться на работу. Недавно явился в театр оперетты в отдел кадров и говорит: «Хочу у вас поработать сторожем». А ему отвечают: «Вы не подходите — у вас слишком интеллигентное лицо».

* * *

Я стоял у «Латинского». Слева по курсу нарисовался Зорик с сиреневым потрепанным журналом «Москва»¹ в кармане пальто.

Мир качнулся и куда-то пропал.

...Первое, что сделал по приезде в Киев (много лет спустя) — купил пиратскую копию «Мастера и Маргариты». Затаив дыхание, стал смотреть.

Вдруг голос Иконниковой:

— «Мастера» кто написал? Достоевский?

* * *

Последние лет 7–8 имею дело, в основном, с текстами. Иногда слышу голоса (по телефону). Время от времени некоторые авторы присылают по электронной почте свой профиль (или анфас). И уж совсем редко (несколько раз в году) кое-кто из виртуальных собеседников материализуется — тогда я имею сомнительное удовольствие общаться с живым (и не всегда умным) человеком.

* * *

Обсуждали с Петром возможное название нашего предполагаемого совместного издательства. Я сказал, что было бы неплохо, если бы оно начиналось на букву «А»,

¹ Роман *М. Булгакова* «Мáстер и Маргарíта» был впервые опубликован в журнале «Москва» в 1966–1967 годах.

в этом случае во всех каталогах и справочниках оно стояло бы в самом начале. На следующий день звонок:

— Я придумал название: «Армагеддон».

* * *

«Я делю испанцев на две неравные части. Одна — маркиз де Брадомин, другая — все остальные».

Рамон Валье дель Инклан, «Сонаты»

* * *

В юности стеснялся того, что сочиняю стихи. Когда с кем-нибудь знакомился, говорил: грузчик, полотер, ювелир, на худой конец.

* * *

...Курилко, Принц, Сердюкова, Стефан, Сережа Мамаенко, Фугалевич, Кот, Мама-Жанна, Гриша Хорошилов...

«И я уйду, приемля формы сна,
Как гордый сгусток медленного света...»¹

* * *

«...Но лучше всего в Балаклаве в феврале — те же самые рыбаки на набережной, что и сто лет назад. И много пустоты и ветра. Зимующие лебеди и бродячие собаки у причалов».

¹ Из стихов Г. Хорошилова.

* * *

Из Николая Курилко:

Луна, твои желтые струны
поют под дыханием птиц.

И девушка в бронзовом платье
над миром о чем-то грустит.

Колеблются бледные струны,
ночные мерцают глаза...

Ладони мне кровь обжигает,
о звезды дробятся слова.

О, девушка в бронзовом платье,
ты слышишь, как плачет Земля?

* * *

Прочел в интернете:

«Когда американский астронавт Нейл Армстронг ступил на поверхность Луны, первое, что он произнес, было: “Желаю успеха, мистер Горски!” Фраза означала вот что: ребенком Армстронг случайно подслушал ссору соседей — семейной пары по фамилии Горски. Миссис Горски распекала мужа: “Скорее соседский мальчишка слетает на Луну, чем ты удовлетворишь женщину!” И вот нá тебе, совпадение! Нейл действительно полетел на Луну!»

Вспомнился Деревянкин (Борис Кононенко).

Лет сорок тому назад зависли мы как-то с Эмилем Голубом на Оболони, на кухне у моей первой жены, в результате чего появилась на свет следующая «бессмертная» поэма:

ДЕРЕВЕНИАДА

Сизый нос, румяные глаза —
нет, не Фуга... Черт возьми, так кто же?
Над Крещатиком плывет гроза,
в гастрономе беспокойно тоже.

И пока волнуется народ,
перед колбасой благоговей,
боком, боком, мимо бакалей
Деревянкин медленно идет.

Как всегда один, почти без денег,
без пальто, ну чем не семьянин?
О, очаровательный бездельник,
улицы Песчаной¹ гражданин!

Как печально и полу-прощально,
полу-без-очков, из дальних стран
ты идешь — легко и гениально, —
полу-дерево, полу-стакан.

¹ В Киеве на улице Песчаной находился вытрезвитель.

А на Ярославской¹ поутру,
на вопросы отвечая невпопад,
он разоблачает ЦРУ
популяризируя поп-арт.

.

Уже четвертый час строптивый гунн
чужую дерибанит четвертинку...
Так варят сталь, так делают чугун,
так пестик всматривается в тычинку.

* * *

Все хотят быть гениями, никто не хочет прозябать
в безвестности. И я не хочу.

Какое мне дело до того, что Державин за два дня до
смерти написал на аспидной (грифельной) доске:

Река времен в своем стремлении... и т. д.

* * *

Один киевский журналист сочинял такие, например,
стихи:

Монголия...
Магнолия...
Махно ли я?
Говно ли я?

¹ См. выше.

* * *

Третью ночь подряд снится совершенно голая Немирова с сигаретой в губах и книгой в руке. Я сижу напротив на табуретке. Она с выражением читает «Приглашение на казнь» Набокова.

— Хочешь чаю? — спрашиваю я.

— Нет, — отвечает она. — Лучше martinis.

— Со льдом? — спрашиваю я.

— Нет, — отвечает она. — Без льда.

Я протягиваю ей бокал. Она делает глоток, затем говорит:

— Как тебе Набоков?

— Не очень... — говорю я и просыпаюсь.

* * *

«Я беру пустяк — анекдот, базарный рассказ, и делаю из него вещь, от которой сам не могу оторваться...»

И. Бабель. Автобиография (1924)

* * *

Какая прекрасная оговорка: Осип Леонидович.

* * *

Ефрейтор Фрейд.

* * *

В один из своих приездов в Киев встретил возле Дома офицеров Николая Троха. Неподалеку (на Шелковичной) находилась его мастерская.

Он пригласил в гости. Едва вошли, сказал:

— Живи, сколько хочешь. Только блядей не води, соседи стучать любят.

В юности Трох работал слесарем на заводе. Потом переквалифицировался в фотохудожники.

При первой же встрече, еще не видя его работ, я распознал в нем гения.

— Пить будешь? — задумчиво спросил он, доставая из бумажного кулька бутылку водки.

— Нет, — как можно тверже ответил я.

— А я буду, — строго сказал он.

Налил, выпил. И стал рассказывать очередную историю «из жизни».

— Нужно было слоган придумать... Для рекламы... Что-то вроде «Виагры»... Сидят, думают... И так и сяк... Не выходит... Я говорю, мужики, чего вы мучаетесь?.. Напишите просто: «Допоможи бажанню!»¹

* * *

Мне кажется, стихотворные строфы некоторых поэтов похожи на венозные трофические язвы.

Трофические язвы русской поэзии.

* * *

«Я сижу в баре, среди бела дня, поэтому наедине с барменом, который рассказывает мне свою жизнь. Почему, собственно? Он говорит, а я слушаю, пью за-

¹ Помогти желанию (укр.).

одно и курю, жду кого-то, читаю газету. Вот как дело было! — говорит он, моя стаканы. Он вытирает вымытые стаканы. Да, говорит он еще раз, так было дело! Я пью — я думаю: человек что-то испытал, теперь он ищет историю того, что испытал...»

Макс Фриш, «Назову себя Гантенбайн»

* * *

С утра, едва проснувшись, Мудозвонов направляется в туалет, потом — в ванную, где с отвращением разглядывает себя в зеркале (мешки под глазами и пр.), чистит зубы, причесывает остатки седых волос. Затем подходит к письменному столу, включает компьютер и в течение получаса сочиняет несколько (не менее пяти) стихотворений. Стихи тут же размещает в Фейсбуке, после чего возвращается в ванную и там, жадно вглядываясь в зеркало, произносит наконец свою будущую речь нобелевского лауреата.

* * *

«Человек — пастух бытия...»

Хайдеггер

* * *

Прочел в интернете в курсовой работе, посвященной творчеству Довлатова:

Несмотря на тот факт, что в грамматической литературе пока еще нет единого и полного определения парцелляции, практически все ученые едины во мнении о том, что, будучи синтаксическим процессом,

парцелляция получает всё больше распространения, а, следовательно, ее изучение представляет собой актуальную проблему в современных исследованиях.

Интересно, что сам Довлатов написал бы по этому поводу?

* * *

Начинающий стареть поэт.

* * *

«Там такие санатории, такие санатории — одно стекло и кибернетика...»

* * *

Единственное, чего он добился в жизни — бросил пить.

* * *

«Кирилловна, представляете, сижу на кухне, читаю Трифонова, а она ходит и пердит...»

* * *

Из Экклезиаста: «От лени потолок провисает...»

* * *

«...За два месяца до смерти он стал наконец владельцем собственной квартиры, но так и не успел в нее въехать. У него случился инфаркт, потом второй, третьего он не пережил. За три недели до смерти Кайдановский женился...»

Андрей Плахов

* * *

Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!

Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море
И в мрачных пропастях земли!

А.С. Пушкин

«Вероятно, никогда столько сочувствия людям не изливалось разом в одном — таком маленьком — стихотворении. Плакать хочется — до того Пушкин хорош».

Абрам Терц, «Прогулки с Пушкиным»

* * *

Не пой, красавица, на мне...

* * *

Звоню другу-поэту. Говорю:
— Вчера стихотворение написал, посвятил жене. Ей понравилось.

Друг в ответ:
— Это ничего не значит!

* * *

Лаоконичный стиль.

* * *

Сергей Илличевский о Наташе Грубер: «Не грубер будет сказано». О Бальцере: «Бальцер за свободу».

* * *

Фамилии: Химерик, Зубэ и Винярский.

* * *

...Я люблю стройных, длинноногих марксисток с чекистским прищуром тяжелых распутных глаз, изощренных (и извращенных) коммунисток с кавалерийской осанкой, люблю их лебединые шеи и тонкие пальцы, аромат их духов, напоминающий о смерти; их грудной голос по-прежнему волнует меня...

* * *

Мания преследования постепенно перерастала в теорию относительности.

* * *

Ночью снились кошмары: КГБ, милиция... Встал, попил воды. Иконникова разлеглась на диване по диагонали, храпит.

Утром проснулся — никого. Августовское уже осеннее солнце, на душе тихо, светло...

* * *

Салон красоты «Бонжур».

* * *

Тавтологический сквозняк.

* * *

Стараюсь писать каждый день, но странное дело: количество страниц не увеличивается, а жизнь стремительно идет к концу.

* * *

Хочется невозможного — услышать по телефону: «Ну как дела?»

* * *

Из стихов Сергея Илличевского:

«Мне Моцарт что-то обещал,
и реквиема медь
меня облепит,
и повелит, как в летописный бред,
уйти от смерти в *lento*...
О, в медленный озноб
оркестра, начинающего петь
вступает некто,
некто в сером,
как дирижера тень,
как капюшон без веры...
Ом!
Звуку подобны смертные!

.

О, реквием!
О, реквием этернум!»

IV

ДРАМАТУРГИЯ

ЛПП, ИЛИ СИНДРОМ ЖОЛУБА¹

Пьеса в двух действиях, трех картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Эмануэль Жолуб — американский гражданин, 50 лет,
предприниматель.

Александр Муравцев — владелец фабрики, 40 лет, женат.

Григорий Плахов — 50 лет, женат.

Ближайший друг и сподвижник Жолуба.

Абрам Гупник — гражданин Израиля, 35 лет, женат.

Вениамин Платонов — молодой микробиолог.

Сергей Гарновский — 50 лет, начинающий стареть поэт.

Франц Кууль — голландец.

Эльза — жена Плахова.

Секретарша

1-й полицейский

2-й полицейский

1-й японец

2-й японец

3-й японец

Бакс — любимый пойнтер Эмануэля Жолуба

¹ ЛПП — лекарство переходного периода. Пьеса написана в соавторстве с Георгием Власовым.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая

События происходят в доме Эмануэля Жолуба, расположенном в одном из самых престижных районов Амстердама, во вторник, 23 декабря 1997 года. Сцена представляет собой ярко освещенную комнату. Включены все осветительные приборы. Посередине — шестиугольный, напоминающий рояль стол, покрытый зеленым, протертым на углах дерматином. На столе в безукоризненном порядке разложены бумаги, квитанции, счета, игральные карты, образцы гомеопатии и лакированные китайские палочки для еды. Одна значительно короче другой. Отдельно стоят биологический прецизионный микроскоп и две стеклянные кружки с мутной жидкостью желто-зеленого цвета. Тут же на фильтровальной бумаге — предметные стекла. Слева от стола — винтовая лестница, ведущая на второй этаж. Возле лестницы — Гарновский и Плахов. Гарновский — в трусах, белом клеенчатом фартуке в крупный горошек и в белых резиновых пляжных шлепанцах с красной надписью «Marlboro». У Плахова в руках — большой полиэтиленовый мешок.

ГАРНОВСКИЙ: Отвертку взял?

ПЛАХОВ: Да. *(Достает отвертку.)*

ГАРНОВСКИЙ: А молоток?

ПЛАХОВ: Да. *(Достает молоток.)*

ГАРНОВСКИЙ: А дрель?

ПЛАХОВ *(без какого-либо интереса)*: Зачем тебе дрель? *(Достает бутылку пива.)*

ГАРНОВСКИЙ: Как зачем? Ты же еще на фабрике сказал: нужна дрель.

Подходят к столу.

ПЛАХОВ: Нормальные люди раздеваются в прихожей... *(Наливает себе пиво.)*

ГАРНОВСКИЙ *(не слушая)*: У меня там колбаса осталась...

ПЛАХОВ *(повышая голос)*: Зачем ты полез в спальню?

ГАРНОВСКИЙ *(не слушая)*: Жолуб в Лондоне?

ПЛАХОВ: Да.

ГАРНОВСКИЙ: Позвони ему. *(Вскакивает, нервно расхаживает по комнате.)* Объясни ситуацию. Скажи, что дверь захлопнулась, ключ от входной двери лежит в куртке, а куртка висит в спальне...

ПЛАХОВ: Я знаю, зачем ты полез в спальню... *(Открывает новую бутылку.)* чтобы полежать на кровати Жолуба... *(Пристально смотрит на Гарновского.)* У тебя мания величия.

ГАРНОВСКИЙ *(не слушая)*: Почему ты не звонишь в Лондон?

ПЛАХОВ: А чем тебе Бакс не угодил?

ГАРНОВСКИЙ: Не люблю животных.

ПЛАХОВ: Я же тебе говорил: спи на диване... (*Закуривает.*)

ГАРНОВСКИЙ (*смотрит по сторонам, как будто что-то ищет*): Надо позвонить Жолубу. В конце концов он имеет право знать, что происходит в его доме.

ПЛАХОВ (*наливает себе пиво*): Это уже не его дом. (*Медленно пьет пиво.*)

ГАРНОВСКИЙ: Как не его!

ПЛАХОВ (*после паузы*): Жолуба выселяют.

ГАРНОВСКИЙ: Куда?

ПЛАХОВ: В январе будет ровно год, как он прекратил выплачивать ипотечный кредит.

ГАРНОВСКИЙ: Кому выплачивать?

ПЛАХОВ: Клюве. Клюва сказал, что они больше ждать не будут. Максимум двадцать девятого придет дюрвардер.

ГАРНОВСКИЙ (*с ужасом*): Кто это?

ПЛАХОВ: Судебный исполнитель.

ГАРНОВСКИЙ: Что же он теперь собирается делать?

ПЛАХОВ: Кто? Исполнитель?

ГАРНОВСКИЙ: Нет, Жолуб.

ПЛАХОВ: Не знаю. Пока побрился наголо.

ГАРНОВСКИЙ: Зачем?

ПЛАХОВ: Дело в том, что у него давно нет денег, а когда у него нет денег, он читает Ханнемана.

ГАРНОВСКИЙ: А кто такой Ханнеман?

ПЛАХОВ: Основоположник гомеопатии. Жолубярий приверженец Ханнемана. В позапрошлый четверг он пришел ко мне (как всегда за деньгами) и попросил побрить его наголо. Потом — ты только представь себе эту картину — нарисовал детским фломастером у себя на голове квадратики, помазал их какой-то радиоактивной дрянью собственного изготовления и теперь ждет, когда из этих квадратиков начнут расти волосы.

ГАРНОВСКИЙ: А причем тут радиация?

ПЛАХОВ: В радиации все дело. От радиации волосы выпадают. И от нее же растут. Все дело в дозировке. То, что в больших дозах вредит, в гомеопатических — лечит. По крайней мере, так утверждает Жолуб. *(Допивает пиво.)* Теперь он каждое утро считает.

ГАРНОВСКИЙ *(совсем запутавшись)*: Кого считает?

ПЛАХОВ: Волосы. Говорит, что в скором времени будет продавать всему миру гомеопатию для растений. Самолеты будут распыскивать эту дрянь на леса и поля, а те станут расти, как ненормальные...

ГАРНОВСКИЙ: Звони в Лондон.

ПЛАХОВ *(достает сотовый, набирает номер)*: Мануэль? Григорий говорит. Ну что там у тебя? Шитагава прилетел? А Нережковский? Понятно. У нас проблема. Гарновский пришел к тебе в дом, чтобы покормить Бакса. Зашел в спальню. Не знаю. Потом пошел в душ. Дверь захлопнулась, а там — все его вещи и, что самое главное, ключ от квартиры. Телефон, как ты знаешь, отключен. В общем, нашел он внизу какой-то фартук, натянул его на голое тело, надел твои пляжные туфли и бе-

гом ко мне... Это в декабре, в шесть часов вечера. Дождь, как из ведра, а зонтик, как назло — в спальне... Хорошо, что у меня — машина. Что? Ну, хорошо... О'кэй! Ждем.

ГАРНОВСКИЙ: Что он сказал?

ПЛАХОВ: Сказал, что вчера посетил Палату Лордов.

ГАРНОВСКИЙ: Плевать на палату, что он сказал про дверь?

ПЛАХОВ: Сказал — ломать.

Уходят наверх. Открывается задняя дверь, входит Эльза с Баксом. Сверху доносятся страшные удары, сотрясающие дом. Через некоторое время спускаются Гарновский и Плахов, Гарновский в фартуке, с сумкой, зонтиком, полотенцем и шампунем. Плахов с молотком и стамеской в руках. Садятся.

ПЛАХОВ (*Эльзе*): Мамчик, это мы.

Эльза неодобрительно смотрит на Гарновского. Бакс пытается лизнуть Гарновского в лицо.

ГАРНОВСКИЙ (*Баксу*): Уйди. (*Плахову.*) Я не буду здесь ночевать.

ПЛАХОВ: Отлично! Тогда все ночуют на фабрике.

Эльза и Бакс уходят.

ПЛАХОВ: Косяк полетел к чертовой матери. Придется менять.

ГАРНОВСКИЙ: Он это любит.

ПЛАХОВ: Так это ж дверной косяк.

ГАРНОВСКИЙ: Ах, дверной... Это меняет дело. А, собственно, зачем ему что-то менять, если он через три дня съезжает.

ПЛАХОВ (*задумчиво*): Я бы поменял.

ГАРНОВСКИЙ: Я не понимаю, как он вообще попал в Голландию?

ПЛАХОВ: Ядвига привезла. К Муравцеву.

ГАРНОВСКИЙ: Зачем?

ПЛАХОВ (*с удивлением смотрит на Гарновского*): Как зачем? От алкоголизма лечиться. Кстати, ты у кого лечился?

ГАРНОВСКИЙ: У Мардаховского.

ПЛАХОВ: Виталия Львовича?

ГАРНОВСКИЙ: Да.

ПЛАХОВ: Редкий проходимец. Всех кого я знал, пичкал антабусом.

ГАРНОВСКИЙ: Полностью угробил мою поджелудочную.

ПЛАХОВ: Ну вот. А у Мануэля в результате — крыша поехала. Ты же знаешь, много лет он носился с идеей возникновения рака, как следствия кислородного голодания. (*Закуривает.*) Согласно его теории, раковая клетка является единственно возможной формой существования белковых тел при низком содержании кислорода в земной атмосфере (*внимательно смотрит на Гарновского*), так как не требует для своей жизнедеятельности кислорода вообще. Таким образом, рак является не болезнью, а целенаправленной

мутацией, и сейчас человечество находится в переходной стадии. *(Пауза.)* Ты можешь себе представить реакцию человечества на эту теорию? А для Муравцева это оказалось вполне приемлемым. Короче говоря, не знаю, о чем они говорили, но в результате родилась фабрика, производящая ЛПП *(Лекарство Переходного Периода)*.

ГАРНОВСКИЙ: А деньги?

ПЛАХОВ: Деньги дали акционеры.

ГАРНОВСКИЙ: А где они нашли этих самых акционеров?

ПЛАХОВ: Ты же знаешь Мануэля? Если он додумался до целенаправленной мутации... Муравцев ничем не хуже. Собрал самых крутых бизнесменов из числа своих пациентов, в популярной форме изложил им теорию Жолуба и убедил их в том, что через каких-нибудь пятнадцать-двадцать лет человечество вымрет почти окончательно. В живых останутся единицы. Мутанты. Чтобы помочь человеческому организму справиться с трудностями Переходного Периода, Муравцев изобретает формулу, создает капсулы, принимая которые человечество сможет безболезненно мутировать и в итоге приспособиться к новым климатическим условиям. У человечества не остается никакого выбора: либо плати, либо... *(разводит руками)* Представляешь, какими бабками тут запахло. Таким образом, у акционеров сработали два древнейших инстинкта: страх смерти и любовь к денежным знакам.

ГАРНОВСКИЙ: И тут появляешься ты?

ПЛАХОВ: Не только я. Муравцев выписывает из Израиля менеджера, своего старого знакомого, Абрама Гупника. Обещает золотые горы. Тот бросает в Израиле дом, работу (и какую работу: американо-израильская корпорация, «Мантель и К^о, производство суперкомпьютеров») и со всей семьей переезжает в Амстердам. Фабрика начинает работать.

ГАРНОВСКИЙ: То есть — ты и Гупник? Или Муравцев тоже? Потому что доктор Жолуб, как нам с тобой хорошо известно, последний раз работал на краснодарской птицефабрике двадцать пять лет тому назад, и то недолго.

ПЛАХОВ: Именно поэтому Муравцев нанимает еще двух человек. Завтра я тебя с ними познакомлю. Вениамин Платонов, микробиолог из Петербурга и Франц Кууль, голландец двухметрового роста (тебе, кстати, предстоит с ним работать), страдающий, как позже выяснилось, психосоматическими расстройствами. Каждую пятницу в конце рабочего дня по неизвестным причинам он приходит в крайнее возбуждение, ругается матом, бросается на людей, однажды во время совещания он вылил на голову секретарши кружку горячего кофе, за что, нужно отдать ему должное, извинился. Правда, в понедельник.

ГАРНОВСКИЙ (*с иронией*): Хорошая у вас компания.

ПЛАХОВ: Кроме того, он первый начал воровать и жрать капсулы. Дело в том, что в свое время компания заключила с работниками соглашение о недопустимости попыток получения какой-либо информации о производимой фабрикой продукции. Никто не должен был знать, что производят, зачем и кому эта продукция предназначена. Но, как ты сам понимаешь, информация, так или иначе, просочилась. И теперь все работники знают об ЛПП. *(Достает из кармана горсть капсул.)* Хочешь попробовать?

Гарновский выбирает одну, глотает, берет еще. Плахов прячет капсулы в карман. Оба смотрят на часы. Гарновский только сейчас замечает, что сидит почти голый в фартуке и пляжных туфлях на желтом кожаном диване в квартире Эмануэля Жолуба. Быстро начинает одеваться. Плахов методично обходит комнату и выключает все лампы и светильники. В наступившей темноте раздается громкий звук закрываемой входной двери.

Конец первого действия

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина первая

Действие происходит на следующий день, 24 декабря, на фабрике. Сцена погружена во тьму. Внезапно загорается рождественская елка. Рядом с ней — Плахов. При свете елочных огней видно, как он правой рукой пытается нащупать выключатель. Наконец

он его находит и включает освещение. Взгляду открывается празднично украшенная комната с большим, во всю стену окном, сквозь которое просматриваются детали фабричного оборудования, хаотическое нагромождение труб, змеевиков, насосов и вращающихся вентиляторов. Посреди комнаты стол и шесть стульев. Над столом — сигнальная панель. На полу — шесть пар желтых резиновых сапог.

ПЛАХОВ: Уехать бы. Кинуть все к чертовой матери. *(Надевает халат.)* Не могу больше видеть эти рожи. *(Закуривает сигарету.)* Один Франц чего стоит. *(Смотрит на сигарету.)* Как можно курить эту гадость. *(Выбрасывает сигарету.)* Сейчас еще и Платонов придет. *(Наливает себе кофе.)* Муравцев говорит, что кофе — яд. *(Закуривает.)* Хорошо Гупнику — может пить эту дрянь ведрами.

Открывается дверь, входит Франц Кууль.

ПЛАХОВ *(вяло)*: Morning!

Франц здоровается с Плаховым за руку, огибаает стол, берет желтые резиновые сапоги, халат, шапочку и начинает переодеваться. Закончив, уходит в блистеровочную. Через некоторое время входит слегка опухший от сна Платонов.

ПЛАХОВ: Здравствуй Вениамин. Что невеселый?

ПЛАТОНОВ: Говорила мне мама, когда я был маленький: учись хорошо Веничка, а то вырастешь и будешь на фабрике коробки клеить.

ПЛАХОВ: Так ты ж их пока еще не клеишь.

ПЛАТОНОВ: Я их пакую.

ПЛАХОВ: Это не одно и то же.

ПЛАТОНОВ (*раздраженно*): Я микробиолог! Я окончил Ленинградский Университет. У меня красный диплом. И, несмотря на это, я должен мыть грязные бидоны, таскать шланг, следить за «чваком» и размешивать в крутом кипятке малтодекстрин. Если так пойдет дальше, то очень скоро я докачусь до того, что стану мыть общественные туалеты. (*Уходит.*)

Входит Гупник. Не раздеваясь, идет к кофейнику, наливает себе кофе, садится за стол, закуривает. Все это — как бы не замечая Плахова. Создается впечатление, что он находится в состоянии полной прострации.

ПЛАХОВ: Г-н Гупник, где ваше здрасте?

ГУПНИК: Все вопросы потом. (*Делает большой глоток.*) Сначала — кофе, потом — работа.

Входит заспанный Гарновский.

ПЛАХОВ (*представляя Гарновского Гупнику*): По-знакомьтесь, генеральный менеджер, Абрам Гупник. Сергей Гарновский, наш друг из Германии.

Гарновский и Гупник обмениваются рукопожатием. Все садятся за стол. Несколько минут длится молчание.

ПЛАХОВ: (*Гупнику*) Ты уже подписал открытку?

ГУПНИК: Кому? Керстену?

ПЛАХОВ: Ну не Муравцеву же.

ГУПНИК: Вчера отослал. После этой истории с банкротством...

ГАРНОВСКИЙ (*с интересом*): Что за история?

Гупник с Плаховым переглядываются.

ПЛАХОВ: Фабрика обанкротилась.

ГАРНОВСКИЙ: Когда?

ПЛАХОВ (*неохотно*): Год назад.

ГАРНОВСКИЙ: Как?

ПЛАХОВ: Не важно как, важно зачем.

ГАРНОВСКИЙ: Зачем?

ГУПНИК: Дело в том, что...

ГАРНОВСКИЙ (*не давая закончить*): Что мозговому тресту начали мешать акционеры...

ГУПНИК: Я этого не говорил!

ПЛАХОВ: А я не только не говорил, я этого даже не думал!

ГАРНОВСКИЙ: Да тут и говорить нечего. Все и так ясно — Муравцев покупает фабрику с молотка. А что Жолуб?

ПЛАХОВ + ГУПНИК (*хором*): Жолуб получил от Муравцева 5% акций.

Воеет сирена. Мигают контрольные огни. Гупник вскакивает, роняя стул, убегает. Через некоторое время входит Жолуб. В руках — микроскоп. Глаза горят гипнотическим огнем.

ЖОЛУБ: Нобелевка в кармане. *(Ставит микроскоп на пол.)* Ты, представляешь, Плахов, все сошлось! *(Наклоняет голову, показывает квадратики.)* Посмотри слева, второй квадрат.

Плахов надевает очки, смотрит на плешь Жолуба.

ЖОЛУБ: Ты видишь?!

Плахов снимает очки, аккуратно их складывает, кладет в карман халата.

ПЛАХОВ: Вижу. А что с растениями?

ЖОЛУБ: Плахов, ты же знаешь, у Эмануэля Жолуба только телеграфные столбы не беременеют. Забудь о растениях! У меня пень зацвел! Я уже заказал пробирки, завтра мне привезут наклейки и я — в бизнесе. *(Напевает.)*

Егор Петрович Мальцев
Болеет, и всерьез,
Уходит жизнь из пальцев,
Уходит из желез.

(От избытка чувств начинает слегка притоптывать.)

Из прочих членов тоже
Уходит жизнь его,
И вскорости не станет
Как видно ничего...

Входят три японца, Гупник, секретарша, за ними Муравцев с белыми от бешенства глазами.

МУРАВЦЕВ (*хрустящим шепотом*): Почему на фабрике посторонние?

1-Й ЯПОНЕЦ: Господин Жолуб, рады вам сообщить, что фабрика произвела на нас огромное впечатление.

2-Й ЯПОНЕЦ: 300 000 долларов заплаченные нами за 5% акций, которые вы нам любезно продали в июне, мы считаем весьма выгодным помещением капитала...

ЖОЛУБ: Это — клевета. (*Муравцеву.*) Я их впервые вижу! Ты мне веришь, Алекс?

3-Й ЯПОНЕЦ: Кроме того, нам хотелось бы ознакомиться с рецептурой...

МУРАВЦЕВ (*по-прежнему шепотом*): Ты им и про рецептуру рассказал, зайцегуб щетинистый?

ЖОЛУБ (*с вызовом*): Мне нужны были деньги... (*Неожиданно для самого себя.*) У меня четыре внука.

МУРАВЦЕВ (*отчетливо выговаривая каждый слог*): На-ив-няк!

Муравцев уходит. Следом уходят Гупник, секретарша и три японца. Жолуб и Плахов, как загипнотизированные, смотрят на дверь.

ПЛАХОВ (*первым приходя в себя*): Эмануэль, когда ты наконец отдашь долг?

ЖОЛУБ (*думая о другом*): Какой долг?

ПЛАХОВ: Три тысячи гульденов, которые ты занял у меня на пятнадцать минут прошлым летом, чтобы показать их Нережковскому, когда тот заявил, что сомневается в твоей кредитоспособности.

ЖОЛУБ: Оставь свои мелкие страстишки! Ты же знаешь, я жду факс из Англии...

Входит Абрам Гупник. На нем противогаз, белый синтетический одноразовый халат и желтые резиновые сапоги. В руках лопата.

ГУПНИК (*освобождая голову от противогаза*): Франца не видели?

ГАРНОВСКИЙ (*сквозь сон*): Не видели.

Гупник уходит.

ЖОЛУБ (*Гарновскому*): Ты что такой отмороженный? (*С тревогой.*) Тебе нужно срочно попить скумпии.

ГАРНОВСКИЙ: Какой еще скумпии? (*Засыпает.*)

ЖОЛУБ: Кожевенной. Лечебная травка. Хорошо помогает при пролежнях, обморожении, даже при гингивите. В крайнем случае, завари себе слоевище цетрарии — незаменимая вещь при хронических поносах. О запорах я уже не говорю.

ПЛАХОВ: Ребята, я должен идти работать. (*Надевает сапоги, уходит.*)

ЖОЛУБ (*разговаривает сам с собой*): Так, с Плаховым разобрались. Три тысячи я ему, конечно, не отдам, а вот в долг, пожалуй, еще возьму. Хорошо бы сегодня. Нет, сегодня не даст. Возьму завтра. С утра.

ГАРНОВСКИЙ (*просыпаясь*): Где все?

ЖОЛУБ : Согласно принципу ле Шателье, здесь никого нет. (*После длительной паузы.*) Кроме меня.

ГАРНОВСКИЙ: А я?

ЖОЛУБ: Тебя тоже нет.

Входят Плахов и Гупник, внося стул, к которому крепко привязан Франц Кууль.

ПЛАХОВ: Вот, сволочь! Хотел в циклон серную кислоту налить.

ГУПНИК: С поличным поймали!

ЖОЛУБ (*подходя поближе*): В Англии, насколько мне известно, ему пришлось бы ответить за подобные действия перед судом присяжных...

ГУПНИК: Я, как генеральный менеджер...

Распахивается дверь. В сопровождении двух полицейских входит Муравцев.

МУРАВЦЕВ (*указывая на Жолуба*): Освободите фабрику от японского наймита!

Немая сцена. Полицейские подходят к Эмануэлю и становятся по обе стороны, предлагая ему следовать за ними. Жолуб не может сдвинуться с места. Все кроме Муравцева отводят глаза в сторону.

Картина вторая

24 декабря 1997 года. Поздний вечер. Дом Эмануэля Жолуба. Та же комната, что и в первом действии, но — почти без мебели. В углу телевизор. Перед ним на поломанном факсе сидит Жолуб.

ЖОЛУБ (*говорит по сотовому*): Представляешь, Плахов, в Коста-Рике на президентских выборах победила семидесятисемилетняя еврейка, в прошлом манекенщица. Только что по CNN передали. Таким образом, все сходится: семерка бьет тройку, а три семерки — двойку и единицу. Ты меня слушаешь? Сейчас 1997 год. Если сложить единицу и две девятки, получится девять, а моя цифра семь. Ты понял? Что? Нет, еще не приходили. Мебель я уже продал. Телевизор тоже, но его еще не увезли.

Внезапно гаснет свет.

ЖОЛУБ (*в темноте*): Сейчас, подожди — свет отключили. (*Зажигает свечи.*) Ты помнишь мой семи-свечник? Я решил подарить его тебе. На память. Прав-

да, ты не еврей, но не настолько же, чтобы не знать, что сегодня третий день хануки. Нет, это еще не всё. Следующий год, 1998-й, составляет в сумме 27. Две девятки, единица и восьмерка. Да. Дом продаю тоже. Пока оценили в четыреста тысяч. Баксов, конечно. (*Баксу.*) Это не тебе. (*В трубку.*) Это я Баксу. Не думаю. Если всё пойдет хорошо, то мне даже останется тысяча двадцать-тридцать. Что? Поселюсь на Брайтоне. Гомеопатия прокормит. Есть запасной вариант: одолжить у Муравцева денег и полететь в Японию. А куда он денется? Что? Да. Встану с плакатом перед главным офисом Шитагавы. На плакате напишу большими буквами: «Верните деньги украинским ученым!» Ты же знаешь: они мне остались должны не меньше, чем двести тысяч. Я думаю — заплатят. Короче, к весне разбогатею. Вернем награбленное. Что? Нет. С Лондоном не вышло. Плахов, помнишь, я тебе стихок читал? Откопал в какой-то книжке... Нет, автора не помню. А вот стихи запомнил, слушай:

Я строил из кубиков чудный дворец,
Но ветром постройку сломало.
«Не плачь, — улыбаясь, сказал мне отец, —
Ты можешь начать все сначала».

Неплохо, правда?

Подходит голодный Бакс.

ЖОЛУБ (*Баксу*): Не мешай! (*Плахову.*) Это я Баксу. На Рождество? Пока не знаю. Дети должны приехать. Что? В Германию? Когда? Нет, не могу. Ну, ладно, Плахов, бывай. Пойду спать. Завтра трудный день.

Медленно, как бы нехотя, подымается. В колеблющемся неверном свете семи свечей, окруженный со всех сторон горбатыми, кривляющимися, подмигивающими тенями, подходит к лестнице, ставит ногу на первую ступеньку, оборачивается и, не говоря ни слова, задувает одну за другой все семь ярко пылающих свечей.

Занавес

V

ПЕРЕВОДЫ

ИЗ УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ

Галилей

Марусе Юрковой посвящаю

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви.

Н. Некрасов

По бескрайним просторам знакомый путь
До сих пор метель не заносит.
Желтых ос золотая муть, —
Осень.

И когда вдоль витрин, где огни, как в бреду,
Я иду в золотой круговерти,
Мне уже все равно — как по тонкому льду! —
Мимо жизни и смерти.

Эта осень!
Ах, с ней постоянно так:
Столько боли, что сам себе жалок, —
Тогда дни —
Как холодный тифозный барак,
А за окнами — стаи галок.

Эй, спокойные, сытые! Разные! Вы!
В чьих глазах я уже покойник.
Я спокойный, спокойный. Спокойней травы.
Вообще я очень спокойный.

Ибо знаю: чужая наскучит ругня
Тем, кто утром идет на работу из дома.
Ну, а я, кто обедает раз в три дня,
Не могу по-другому.

Может, вправду такой обыватель я,
Что согласен на всё и сразу;
Только знайте: пришел я оттуда, друзья,
Где закон — умирать не по разу.

Что могу о себе я сказать еще?
Мне смешны разговоры —
Разве то, что под серым вечерним дождем
Быть и быть бы, как пёс под забором.

Так как воеет на звезды голодный волк,
Хищный пращур собаки!

Не замолк,
Не замолк,
Не замолк

Голос склоки и драки!

И сквозь время, сквозь его молодую траву,
И сквозь книгу — протяжно и звонко —
Ау-у! —

голос волка.

Так, как воет дикарь перекошенным ртом
В безразличные уши растений...
Ах, я знаю: он спрятался весь целиком
В моем сердце осеннем.

Так, как выли голодные деды мои
Торопливую песнь над обрывом,
Когда песен чужих следы
Заливали кровавым пивом!

Эй!
Да только упал туман...
Потому — потихоньку петъ мне
В уши мертвые горожан
Под осенний холодный ветер...

Что-то стал я и впрямь нелюдим,
Хоть бы выбежал пёс на дорогу...
И Тычина, и Рыльский Максим...
Никого, слава Богу...

Ну кому расскажу я про раннюю боль,
И про веру свою в воскресенье,
Когда общая цель — к воскресеньям любовь,
Чтобы семь воскресений кряду!

Ведь не нужно ни слов,
ни бессмысленных фраз:
Миллионы журналов в красивых обложках!
А всего-то и надо — поужинать раз,
И здоровья немножко!

Ну какого черта, надев пальто,
Теплый шарф прихватив с собою,
В суету проституток и новых авто
День за днем бестолково вою:

— Да святится имя твое,
Страшный усталый век,
На земле, где столько калек!
Я лишь крошечная букашка
В равнодушной твоей руке...

Ой, упали кровавые росы
На поля, на жнивье...
Мой народ!
 Хмурый и бóсый!
Да святится имя твое!

Зацветут молодые сады
Пышным цветом небесной славы!
Эй ты, мука моя, эй, ты,
Век кровавый!

Убиенным сынам твоим
И всем тем,
Которые будут убиты,
Чтобы позже раздвинуть могильные плиты,
 Всем
 Им —
 Осанна!

Вдруг пришла тишина и странно
Исковеркала смехом рот, —
Ах, и в сердце — сквозная рана —
Надоевший всем анекдот!

Тогда вижу — в провалах лунных
Танец диких больных сердец!
И мне кажется: все мы — гунны,
И давно уже каждый — мертвец!

Танцы... кольца... караты... алмазы...

Кошельки...

Кошельки...

Кошельки...

Как уместны бывают фразы,
Что кричат на углу старики!

Лезут в церковь, потом — в рестораны,
Жрут, торгуют, галдят, плюют
В непромытые, бедные раны, —
Живут!

Эй ты, улица!

Потного мяса —

Без конца и без края — река!
Над тобой — два словца из Тараса,
И оборванный ветром плакат!

Ну кому это нужно сегодня?
Сумасшедший, больной поэт!
Лишь частушки слышны
в подворотнях,
Да обрывки смешных оперетт!

Ет!
Приключения ночные,
Словно кружева стальные!
О, время!
Стоя у черты,
Покрасней хоть ты!

Ах!
В каких таких словах,
Или в стихах каких
На склоне дней моих
От боли закричу?
Молчу.

И, как все, лечу
Вместе с Землей в зенит...
Сердце, усни! —
Закон.

Ты не одно — мильон!
И не мильон — миры,
Пылают шатры
Огнем!

А чтобы за серым днем
Горизонт не погиб,
К кому-нибудь подойдем —
Взяли б и помогли б...

Homo sapiens я...
Хлюп... хлюп...
Подайте на хлеб!
Кормители!
Пусть царствуют ваши родители
Вечно,
А я денно и ночью
За них
 хлюп... хлюп...
Подайте на хлеб...
 Не проходите мимо!

Слезы горячие прячу.
Радость последнюю трачу.
Слышите: плачу —
 Хлюп...
 Хлюп...
Подайте на хлеб
Насущный...

Матушки, меня пожалейте,
Батюшки, меня научите,
Как на свете прожить
Сиротинушке...

Нет!
Не грязные деньги нужны!
Дайте кусочек солнца!
Мне бы только губами дотронуться
До бескрайней, как боль тишины!

Но молча расходятся, устав от дел,
Всегда одинокие люди...
И уже вечер давно сгорел,
И не спят лишь аптеки...

Только в сердце всё та же печаль...
И ложится мокрый туман
На безлюдный майдан,
На асфальт...

Звук
Уходящих
Шагов
Мертвый такой,
Словно сбоку
Промаршировали века —
Улиц черный провал...

Вновь одиночество предъявляет права
На тебя. Бог с тобой!
Домой —
Забудется!

Почему тогда каждая улица
Этой ночью так странно нова?

И уже надо мною сутулятся
Незнакомые раньше слова:

«Эй вы, сёла! Усталые нивы!
Покосившийся злой плетень,
Был ли здесь хоть один счастливый,
Вашей болью взлелеянный день?»

Что я знаю? Я мало знаю!
Так, почти ничего...
Знаю только, что умираю —
Не пойму, отчего...
Об одном, об одном лишь мечтаю
И прошу у Него:
Тишины!
Хны...

Ишь, интеллигентская рожа!
Хоть бы форма была нова!
А то ведь всегда одно и то же,
Одни и те же слова!

Знакомый кооператор, заехав домой побриться
(Серый костюм, перчатки, автомобиль),
Сказал мне по-дружески:
— Вам скоро тридцать,
А вы до сих пор утрамбовываете пыль.
Поймите: кто не способен драться,
Тот должен уйти, теперь побеждает тот,
Кто верит в кооперацию
Или ездит в авто!
Вот!

А над городом плывут туманы...
Где-то звезды блещут...
Как тихо безлистые каштаны
Шелестят...

Где-то в поле, не дождавшись утра,
Уже, наверное, зерно проросло...
А ночь так спокойно и мудро
Склонила ко мне чело...

О, ночь!
Ты слышишь, как стонет
Далекая тишина?
— Потому что цветок на ладони
Так же дорог, как горсть пшена.

Ночь,
Кто виноват, ответь мне,
Что не спит над рекой камыш?
Что некому петь мне?
Молчишь?
Почему не рычишь
Над нами
Грозами
Так,
Чтоб к черту любые гаммы,
Чтоб вверх ногами —
Всё!

Пусть тогда день принесёт
Страдания. Пусть рыдают!

Пусть знают, что сердце страдает
Моё... что уже не поёт!

Видишь — гниёт
На ветру,
Держась за ветлу,
Калека безногий?
И это там, где любые дороги
В светлые дали ведут!
Так зачем же расселся он тут,
Человечий огрызок,
 зачем стирает он руки?
Только что не хватает за брюки —
А народ расступается благостный,
Из других понаехавший мест.
Сразу видно нерадостный
 Хлеб
 Он ест!
 О!
 То-то и оно!

Какой сюжет для кино!
Какие прекрасные трюки
Может делать безрукий,
Когда с глазами, полными муки,
Взвоят в щеки раскрашенных баб:
— Сигареты Гостабфаб!
 Эх!

А еще лучше — слепой у ларька,
Что уже похмелился слегка

И, согнувши дугой свою спину,
Воеет, скорчив «печальную» мину:
«У камина».

А минута
Как будто
Незаметно
Час за руку ведет...
И нигде
Никто
Нас не ждет.
И нигде
Никто
Нас больше не ждет...

А лицо мое все бледней и бледней,
И улыбка становится слишком тяжёлой,
Что когда-то мелькала на лицах людей,
Над страницами книжки мудро-весёлой...

Ах, эта мудрость!
Десяток фраз.
Ну кого, скажите, спасет поэм суесловье?
Когда нужно всего-то — поужинать раз,
И немножко здоровья!

И тогда уже, ночь, смотри —
Не помогут твои приказы,
Когда вместо сердца внутри
Будут вставлены эти фразы!

И не верю, что мiнут дни,
Что добро сотворит недобрый!
Догорели, погасли огни...
Догорел горизонт огромный...

Город спит.
И стоит
На страже
Тишина все та же
И болит...
И болит...
И болит...

Боль моя!
Радость печальных дней!
Время тебя уносит.
Может в далекой стране
Всех успокоит осень!

Боль моя!
Одиноко-
Прекрасная!
Жертва моя далеким векам!
Там —
У подножия счастья людского! —
Погасни
Возле светлого входа в храм!

А я тебе дни отдам, —
Буду славить тебя вовеки!

Верю — слеза калеки
Значит больше, чем тысячи слов,
пьес, стихов или драм!

Там —
Вам,
Нам,
Тебе,
Мне,
Им —
Эй —
Всем,
Всем,
Всем, —

Так будет:
Придут сильные загорелые люди;
Промелькнут, как мгновенья, века:
Человек о рабстве забудет,
И забудет о мозолях рука.

И вот они сядут неподалёку от моря,
И отступит за часом час.
...И в крови, на Голгофе, в горе
Узрят нас.

Тогда голос — от края до края:
— Что вы делали в час, когда
Кровь лилась, как вода простая,
Кровь лилась как простая вода?

Выйдут хмурые, злые, скажут:

— Мы

Не хотели, чтоб правду нашу

Доставали из тьмы!

Знали толк в этой жизни трудной, —

Разве мы виноваты в том,

Что забыли о дверце чудной,

Что вела в заколдованный дом?

Ошибались, бывало... Однако,

Кто безгрешен? Повсюду — грех!

Видит Бог, натерпелись страха...

Голос: «В шею гоните всех!»

Тогда выйдут не люди — львы!

И не я... и не вы...

Другие.

Скажут:

Мы — те,

Кто навстречу мечте

Шел сквозь время всегда и везде —

Из мрачных ущелий взбираясь на скалы,

Через кровь, через трупы отцов, матерей! —

Каждый хотел

Небывалой мечте

Бросить цветы под нóги!

Мы умирали за нее!

Мы убивали для нее!

Мы отдали ей все, что могли!

Благостны, как никогда,
Радостью лица сияют!
Счастливы люди, когда
Их понимают.

Хором земля, небеса:
— Благословен, кто в суровый
Век себя кровью вписал
В книгу бессмертья людского.

Дальше попрут без разбора,
Сбившись в дурацкие группы,
Трупы,
Которые я ежедневно встречаю
После вечернего чаю
На променаде...
Хватит!

Ветер коснется травы,
Вспомнит про крест на могиле...
— Ибо не ведали вы,
Что вы творили!

А после них...
Потом...
Выйдем мы наконец —
Я и те,
 Кто со мною...
 Те, что в жизни
 Поникли травой!

Лица бледные, все мы, все...
Все... какие-то не такие...
А вокруг в непонятной красе
Времена золотые!

И, как будто — спокойно-спокойно нам...
И раскаиваться нам не в чем...
Мертвой бабочкой тишина
Опускается нам на плечи!

И тогда говорю им я
(Ой, ты доля моя!) —
Хоть и знаю, что поздно:
— Не смотрите на нас так грозно!

Мы тише, чем шорох лесной...
Мы — шёпот травы...
Мы земля, на которой вы
Расцветете весной.

Не герои, не жертвы... мы просто так...
Одинокие, серые тени,
В чьих глазах только боль,
в чьих глазах только страх
Промелькнувших, как сон, поколений.
И боль не отпускала нас
Там...
в днях...
Ах!
Мне бы!

Под шатром голубого неба
На просторах цветов луговых —
Отпускаешь рабов твоих,
Время!

Ибо видели радость твою —
И верили в радость!
Ибо видим радость твою —
Измученные...
И нам скажут тогда: отдохните!

.

Извини меня, ночь,
За то, что болтаю без устали!
А тебе, ночь, не грустно ли?
Впрочем...

Безработный я третью осень,
Вот и чешется злой язык —
Привык.

И признаться — интеллигент...
Ну и всякие такие слова...
К тому же в этот момент
Болит голова.

Виной тому малокровие.
Много ли хлеба в полуфунте?
Много ли истины в слове:
«Transit gloria mundi...»

Впрочем, на кого мне сердиться?
Просто в сердце сирого, убого.
Спите спокойно, коли вам спится, —
Ради Бога!

Ибо мгновение не станет ждать,
Время не остановится, каждый знает,
Из-за того, что кто-то должен страдать,
Из-за того, что человек умирает!

И не нужно мне ничего!
Примус, комната, одеяло...
Даже небо глядит в окно,
Разве этого мало?

Я спокойный, я очень спокойный!
Какая бессмертная гармония —
Революция, голод, и войны,
И человеческого сердца агония.

Эй, ты сердце! Здорово ли? Здорова
Потрудились за всех!
Всем достанется поровну —
Боль и радость, усталость и смех!

И летим мы с Землей в эмпирей
По орбите, что пишет она!

А над нею,
под нею,
за нею —
тишина,
тишина,
тишина...

А живу я в чудесной местности,
Скоро год, как снимаю чердак
И, конечно, живу я в бедности,
Кое-как...

Выхожу раз в неделю из дома,
На рубаху набросив пальто,
К гастроному иду угловому,
Где не ждет меня, знаю, никто.

Проклинаю голодный желудок,
Отмечаюсь на бирже труда,
Возвращаюсь домой... Не до шуток
Мне становится дома, когда

Среди ночи, один, как собака,
Подхожу к небольшому окну
И, чтоб только не плакать, не плакать,
Жадно вслушиваюсь в тишину.

Город спит. Рассыпается гравий.
Воет ветер снаружи, внутри...

И, как в каждой приличной державе,
Кое-где вдруг зажглись фонари...

И проходят солдаты, солдаты,
Сон людской стерегут и добро
По столовым — обедов остатки
И стеклянных витрин серебро!

А за стенами — с храпом и свистом
Спят усталые, без одеял,
Те, кто вслед за слепым активистом
Для грядущего жизнь отдавал!

Что ж, летите с Землей в эмпирей
По орбите, что пишет она!

А над нею,
 под нею,
 за нею —
 тишина,
 тишина,
 тишина...

А над ними в осеннем тумане,
В тишине, далеки от игры,
В золотом недоступном сиянье —
Недоступные взгляду миры...

Целый день я слова подбираю...
Что могу я про боль рассказать,
От которой всерьез умираю,
Зарываясь, как в землю, в кровать!

О, грядущее! Боль неземная!
И во имя твое, человек,
Свой терновый венок посылает
Конфетти окровавленный век!

И внезапно разорваны в клочья —
Смех не смех и гроза не гроза —
Словно песня голодная волчья —
Просыпается сразу базар.

И тотчас же кровавые лапы,
Тени вечно творящей руки,
Сеют в землю, где мусор и жабы,
 медяки,
 медяки,
 медяки...

В церковь...
 На ипподром...
 В рестораны...
Жрут...
 Торгуют...
 Галдят...
 Плюют
В непромытые бедные раны...
Живут!

Рядом с болью — караты, алмазы...
 Кошельки...
 Кошельки...
 Кошельки...

Как уместны бывают фразы,
Что кричат на углу старики!

Подступлю осторожно к порогу, —
Что мне делать, когда я — на дне,
И молюсь я — не черту! не богу! —
А распятым замученных дней!

О, прекрасное тихое лето...
Но сквозь муку, усталость и кровь
Пусть увидят — я верую в это! —
Настоящую веру, любовь!

Ну а мне — ничего, ради бога...
Как трава... все равно... все равно...
Лишь века́ равнодушно и строго
Сквозь разбитое смотрят окно.

А вверху, над людьми, надо мною —
Недоступный для зренья людей,
Окруженный веков тишиною —

Г а л и л е й.

Эй!

Герои!

Калеки!

Безумцы!

Провидцы!

Невротики!

А, живите себе, как вам нравится,
как вам верится!

Оттого что —
слышите? —
всё-таки
мир наш вертится!

1924 г.

ИЗ НЕМЕЦКОЙ ПОЭЗИИ

Die Einsamkeit ist wie ein Regen...¹

R.M. Rilke

¹ Одиночество как дождь... (нем.)

В старом доме

Я в старом доме; тишина.
Всю целиком, как на ладони,
я вижу Прагу в медальоне
распахнутого вдаль окна.

Закат давно уже погас,
лишь вдалеке, мерцая скупю,
вздымает свой волшебный купол
загадочный *Sankt Nikolas*.

Звезда над городом горит,
как будто свет зажегся в храме,
как будто в старом доме «*Amen*»
мне тихий голос говорит.

На Малой Стране

В каждом каменном изгибе
древних башен — боль и трепет, —
узкий двор себе на гибель
навсегда забыл о небе.

Лестничных амуров сразу
узнаёшь по жалким позам;
высоко на крышах в вазах
лепестки роняют розы.

Есть калитка там. Кто знает,
что́ за слово удивленно
солнце по складам читает
там, где слезы льет мадонна?

Дворянский дом

Дворянский дом с причудливым фронтоном,
весь в готике, как шрифт на обелиске.
Пустынный двор и в нем — булыжник склизкий,
и лампа тусклая — в стекле оконном.

Сизоголовый голубь клювом старым
стучит в окно, как дятел или плотник;
здесь ласточки гнездятся в подворотнях:
здесь — колдовство, здесь — колдовские чары.

У Святого Вита

Люблю собора мрачный вид,
дремучий лес его фронтона,
здесь каждое окно, колонна
о сокровенном говорит.

Поблизости роскошный дом,
эротика — его основа,
а рядом готика сурово
молчит и крестится с трудом.

Теперь понятен анекдот;
в сравнении не вижу фальши:
старик аббат, за ним, чуть дальше —
красотка медленно идет.

У капуцинов

Добрейший патер Гвардиан
мне предлагает рюмку водки,
такой, что судорога — в глотке,
глоток — и мертвый будет пьян.

Он ищет ключик от ларца
с сокровищем. Не взял ли кто-то?
Нашел! нашел! И капли пота
стекают с жирного лица.

Наполнив рюмки в третий раз,
он каламбурит: «Все мы — гости;
однажды сгинем на погосте,
но — дух! — останется от нас».

Вигилии

I

На землю тихо сходит сон,
лишь я не сплю один;
вдоль тихих улиц бродит он,
вдоль гаснувших витрин.

Блаженная вигилия!
Ночь ходит здесь и там;
луна, ночная лилия,
плывет по небесам.

II

Когда б я мог соединить их,
небесный свет и свет окна;
в серебряных холодных нитях
опять запуталась луна.

Всё, как бы скрыто поволокой;
там, у вселенной на краю,
лишь тусклый свет звезды далекой
оправдывает жизнь мою.

III

Ночь теряет стрелы, щит,
значит, не сберечь их.
Лампа на столе трещит
тихо, как кузнечик.
Свет струится золотой;
там на книжной полке —
чудеса, волшебник злой,
сказочные волки.

Когда наступает весна

Трава блестит под солнцем ярко;
земля весенняя согрета;
мелькнула первая карета
в аллеях парка.

И, где вчера лишь ворон каркал,
один, среди морозных елей, —
сегодня птицы вдруг запели
в аллеях парка.

Весенний ветер слишком жарко
ласкает гипсовые плечи;
всё те же поцелуи, речи —
в аллеях парка.

* * *

Вдали от города, один,
лежу в траве густой;
ручей журчит меж двух осин,
и дуб шумит листвою.

Волшебный лес, суровый край —
он трогает до слез...
И слышно мне: «Не забывай
дубов, осин, берез».

В предместье

Старуха в черном, что жила над нами,
она мертва. — Но кто она? — Бог весть!
У нищих нет имен, а если есть —
какой в них прок? Бог с ними, с именами...

Внизу пылятся траурные дроги.
Дверь заколочена; ну что ж, пора!
Гроб с руганью выносят со двора,
едва не уронив среди дороги.

Унылый кучер трогает и, вскоре
забыв про смерть, орёт: «Черт побери!»,
как будто там лишь жалкий гроб внутри,
а не вся жизнь ее — любовь и горе.

* * *

Здесь воздух затхл, как в комнате больного,
где смерть исхода терпеливо ждет;
на мокрых крышах — отблеск дня иного,
как от свечи, что через миг умрет.

Есть даже в смерти некий промежуток:
вот ожил лист, и — всё, и был таков...
И, как над лесом стая диких уток,
ползет по небу стая облаков.

* * *

Ночь залегла в глубинах парка,
и звезды кротко светят нам;
луны серебряная барка
плывет к далеким берегам.

Фонтан рассказывает сказку,
как будто грезит наяву, —
почти без звука, глухо, вязко
упало яблоко в траву.

А от холмов, где кем-то щедро
гряда дубов наклонена,
уже летит на крыльях ветра
дух виноградного вина.

* * *

Над белым замком хлопьев хоровод.
В пустынных залах — ледящий холод.
Повсюду — смерть. И край стены отколот.
И снег лежит от окон до ворот.

Повсюду — снег. На крыше — серый лед.
То — смерть моя вдоль белых стен крадется
в продрогший сад... Она еще вернется
и стрелки на часах переведет.

Венеция, I

Чуждый говор. Мы — в гондоле.
Город в сумрак погружен.
Лодка движется там что ли
мимо мраморных колонн?

Тишина. Лишь гондольеров
смех звучит. Весло поет...
Из каналов темно-серых
ночь огромная встает.

Черный след волной изрезан,
колокола дальний звон.
Снится мне: я — мертвый цезарь
в день державных похорон.

* * *

Здесь, что ни день — один и тот же сон:
здесь дети спят, уткнувшись в звездный полог,
здесь старики, чей век — увы! — недолог,
глядят из окон строго, как с икон.

Здесь, что ни день — один и тот же сон:
вечерний звон над полем тихо льется,
и девушки, сгрудившись у колодца,
в смущенье ждут, когда растает он.

Не туча ли закрыла небосклон?
Нет, это липа машет мне ветвями
и вдаль зовет... Так дни летят за днями,
и, что ни день — один и тот же сон.

* * *

Чужими стали ваши плечи,
чужими — золото волос,
и обольстительные речи,
и редкие ночные встречи,
когда во тьме пылают свечи,
чей воск неотличим от слез.

Мы словно два изображенья
над опустевшим алтарем,
еще исполнены движенья,
еще полны любви, смиренья,
как будто от богослуженья
мы всё еще чего-то ждем.

Осень

Листва летит с деревьев и с небес,
чтобы очнувшись на оконной раме,
пролепетать: «Не так ли будет с вами?»

Так и земля, как мотылек на пламя,
летит сквозь ночь звезде наперерез.

Вот так же падает, скрывая страх,
из рук твоих — заколка или скрепка...

И все же есть Один, кто держит крепко
паденья наши в бережных руках.

* * *

Я видел сон. И в этом странном сне
твоя душа — так представлялось мне —

с моей душой звучала в унисон,
и обе знали: это — только сон;

и не было ни лжи, ни суеты,
а только небо, звезды, я и ты.

Матери

Уже почти как тень бесплотна,
уже почти совсем одна, —
ликуй, о жено! Ты – свободна,
теперь ты будешь спасена.

Прислушайся: досель безмолвный,
в твоей душе растет прибой, —
молись, о жено! Это — волны
любви иной.

Порой она чувствует: жизнь — как река,
бушующая в половодье,
как бешеный шквал оборвавший поводья,
деревья ломающий наверняка, —
порой она знает об этом...

Сегодня
под вечер, как вышла (над крышей звезда
так низко склонилась к заросшей ограде),
подумала вскользь: «И чего это ради?»
и медленным жестом, скупым как всегда,
седые поправила пряди.

Осенний день

Над нами — время. Лето — позади.
И тень Твоя уже на циферблате,
вот-вот пойдут осенние дожди.

Еще хоть несколько таких недель!
Так целой жизни оказалось мало,
чтобы допить — уже со дна бокала —
вина осеннего тяжелый хмель.

Кто одинок — тот будет им и впредь.
Кто счастья ждет — тот не увидит счастья,
тот будет вздрагивать, ломать запястья,
бродить в аллеях парка и смотреть,
как листья падают в часы ненастья.

Суровый час

Если кто-то плачет сейчас в ночи,
без причины плачет в ночи,
он плачет обо мне.

Если кто-то смеется сейчас в ночи,
без причины смеется в ночи,
он смеется надо мной.

Если кто-то вдруг заблудился в ночи,
без причины заблудился в ночи,
он идет ко мне.

Если кто-то сейчас умирает в ночи,
без причины умирает в ночи:
он смотрит на меня.

Осень, I

Значит скоро осень, если
Птицы за море летят.
Ласточки и те исчезли.
Опустел наш старый сад.

Ветер, понимая это,
Трогает последний лист.
Что поделать, если лета
Дни так быстро пронеслись?

И уже в тумане тает
Некогда счастливый лес.
Дня надолго не хватает —
В быстрых сумерках исчез.

Только раз еще сквозь тучи
Солнечный пробьется луч;
Это Бог на всякий случай
Шлет нам радость из-за туч, —

Чтоб ее хватило на год,
Чтобы все, кому не лень,
После долгих зимних тягот
Встретили весенний день.

Лето

К вечеру смолкают жалобы
Кукушки в лесу.
Низко клонится пшеница
И красный мак.

Черная туча надвигается
Из-за холма.
Песня кузнечика
Затерялась в траве.

Мертвенно-неподвижна
Листва каштанов.
На винтовой лестнице
Шумит твое платье.

Тихо горит свеча
В темной спальне;
Серебряные пальцы
Гасят ее;

Безветренная, беззвездная ночь.

Джоанне

Эхо твоих шагов
Тонет в глухих переулках.
Вижу: прозрачная тень,
Мелькнула в саду.

В сумерках старого сада,
Молча, сижу за бокалом вина.
Капля крови
Стекает с твоего виска

В поющий хрусталь
Час бесконечной тоски.
От далеких созвездий веет холодом —
Снежный ветер пронизывает листву.

Нехотя умирает
Ночь в глубине человека.
Твой пунцовый рот,
Живет во мне, как открытая рана.

Ах, если бы я мог оторваться
От зеленых холмов и саг
Нашей родины,
Которую мы так часто забываем —

Кто мы? Невнятный лепет
Одинокого ручья,
Запах лесной фиалки,
Распустившейся в феврале.

Мирное лето в деревне,
В котором уместилось детство
Целого поколения,
Или умирающие на вечерних

Холмах седовласые внуки,
Которым снятся ужасы, —
Это сходит с ума наша ночная кровь...
Тени в каменных городах.

Альфред ЛИХТЕНШТЕЙН

Сумерки

Мальчишка, грязный с ног до головы,
Над голым деревом клочок тумана.
У неба вид, как у больной вдовы,
Когда заканчиваются румяна.

Держась за костыли, одетые в рядно,
Два жутких старца двигаются к храму.
Поэт напротив выпрыгнул в окно.
И чья-то лошадь уронила даму.

Из коридора слышен чей-то плач.
Юнец о пылкой женщине мечтает.
Угрюмый клоун надевает плащ.
Кричит ребенок, и собака лает.

Дубовая роща

От людей пришел я к вам, гордые дети природы!

От людей, где деревья живут в дружелюбном пространстве,

Окруженные вечной любовью и вечной заботой.

Но вы! Вы стоите, как гордое племя Титанов,

У подножия гор, подвластны лишь солнцу и небу,

Вас вскормившему и воспитавшему вас на свободе.

Не у людей вы учились хорошим манерам,

Нет, вы уходите вверх, к облакам, ваши сильные корни

Переплетаются между собой и, как коршун добычу,

Вы когтите пространство, в то время как шумные кроны

Тянутся ввысь и уже облаков достигают.

В каждом из вас — целый мир, вы, как звезды на небе

Сосуществуете мирно в свободном союзе.

Ах, если б только и я мог с рабством смириться —

наверяд ли

Стал бы завидовать вам — скорее вернулся бы к людям.

Впрочем, довольно с меня, прочь, одинокое сердце,

Прочь от людей навсегда, — лучше в лесах затеряться!

Парабола

1

Ты знаком с фигурой полонеза,
когда пары поднимают руки,
образуя ими как бы арку?

Где, идущая последней пара,
замыкая строй, в тоннель вступает,
чтобы снова оказаться первой?

Что ж, теперь понять совсем не трудно,
почему о смене поколений
всякий раз я думаю при этом:

точно так же пара дряхлых старцев
вдруг ныряет из рядов последних,
чтобы снова всё начать сначала...

2

Два твои зрачка взрывают полночь,
как глаза огромной дикой кошки,
в тишине звучит твой властный голос,
как у дикой своенравной кошки,

от твоих волос исходят искры,
как от шерсти злой, голодной кошки,
твои пальцы, словно когти кошки
гладят лоб мой нежно и коварно.
Молодая ласковая кошка,
когда тайно ты ко мне приходишь,
ночью на чердак — кого ты ищешь?
Ах, кота... Но здесь живет философ.

3

Я из породы птиц, и потому
мне близко только то, что за горами:
дорога, рассекающая тьму,
далекий лес и небо с облаками.

Летя над садом, на пустую ветку
сажусь без страха и пою без слов
простой мотив, но золотую клетку
уже готовит хитрый птицелов.

О, сколько их, волшебниц молодых,
шептало мне — так проходили годы —
«Не уходи!» — но ни одна из них
не заменила сумрачной свободы.

Без передышки

Сердце, птаха, что с тобой?
Всё твердишь свои вопросы:
Скоро ли минуют грозы?
Скоро ли придет покой?

О, я знаю: и в аду
Успокоимся едва ли,
И в раю найдем беду,
Ту, что раньше не встречали;

И опять в который раз,
Всё завертится по кругу
В шевеленье звездных масс,
В притяжение их друг к другу.

На севере

Хочешь знать, о чем мечтаю?
Будто в молодости ранней
Вижу солнечную стаю
Желтых скал и белых зданий.

Белый город в дымке синей,
Город мраморных окраин,
Вдруг предстал, как на картине,
То — Флоренция, я знаю.

Там в саду, заглухшем, старом,
Где стучит от ветра ставень,
Счастье ждет меня задаром,
Что когда-то я оставил.

В тумане

С легкой котомкою странник,
Куст или камень у ног,
Кто бы там ни был в тумане —
Каждый из нас одинок.

Всё же подыдем стакан,
Дружба превыше всего,
Хоть над дорогой — туман
И не видать ничего.

Тот не приблизится к свету,
Кто в темноту не войдет,
Кто не погрузится в Лету
И навсегда не умрет.

С легкой котомкою странник,
Куст или камень у ног,
Кто бы там ни был в тумане —
Каждый из нас одинок.

* * *

Полночь бьет. Дорога гонит прочь.
Месяц в небе странствует всю ночь.

Сколько лет сквозь снег, сквозь лунный зной
Я бреду один и тень — за мной.

Сколько нами пройдено дорог,
Сколько лун и солнц я видеть мог.

А теперь я немощен и стар,
Не могу идти — совсем устал.

Шаг тяжел, и ноги — как свинец,
У дороги должен быть конец.

Та мечта, что вдаль меня влекла,
Оказалась не прочней стекла.

Полночь бьет. Хоть криком закричи —
Никого. Один среди ночи.

Заметает снегом шею, грудь...
О, как сладко навсегда заснуть.

* * *

Темнеет. У окрестных гор
В часы заката грустный вид.
В господском парке до сих пор
Листва опавшая лежит.
Почти невидимая мне,
Задумчива и холодна,
Ты проскакала на коне
Сквозь листопад, совсем одна,
(Мне на прощанье бросив взгляд)
В свою роскошную тюрьму...
Из-за решеток и оград
Я долго всматривался в тьму.

Гавот

Две скрипки в городском саду
Поют в два голоса, и пары
Кружат, как лебеди в пруду —
Всё тот же, тот же танец старый.

Ах, этот бедный старый сад,
Он знает: было всё иначе
Каких-то двадцать лет назад,
Но это ничего не значит.

Элеонор

Вдруг осенью я вспомнил о тебе —
Леса стоят во тьме, сам по себе
День вдруг погас за дальними холмами.
Какой-то звук доносится с небес, —
Не ветер ли раскачивает лес
С безлиственными деревьями?

Ночь подступает; стали вдруг видны
На небе звезды; бледный серп луны
Неярким светом землю озаряет
И равнодушно смотрит сверху вниз
На сонный лес и на лепной карниз,
Что плотно к крыше прилегает.

Зимой, когда за окнами темно
Становится, и снег стучит в окно,
И страшный ветер сад ночной тиранит, —
Рояль звучит, и с чуждою тоской
Мне прямо в сердце льется голос твой,
И, словно нож, мне сердце ранит.

Тогда вдруг к лампе тянется рука,
Неверный свет плывет издалека,
И твой портрет в тяжелой старой раме
Грустит, как встарь, под бременем надежд —
Тогда целую край твоих одежд
И на колени падаю, как в храме.

Пауль ЦЕЛАН

Песня в пустыне

Черный венок из обугленных листьев я сплел
на окраине Акры:
там я скакал на коне и со смертью сражался на шпагах.
Из деревянной посуды пил пепел колодезный Акры,
и на восток по развалинам неба шел медленным шагом.

Просто ангелы умерли, просто Бог вдруг ослеп
в окрестностях Акры,
нет никого, кто бы сон мне вернул и покой
подарил мне.
Месяц — прекрасный цветок — он растоптан
в окрестностях Акры:
руки шипами цветут и сплетаются в бешеном ритме.

Что ж, напоследок, склониться в поклоне, когда
они молятся в Акре...
О, как непрочна кольчуга у ночи — кровь каплет
из раны!
Брат ваш смеющийся, ангел железный из Акры,
всё еще имя твердит, и всё еще помнит тот отблеск
багряный.

Воспоминание о Франции

Повторяй за мной: небо Парижа, огромный
осенний безвременник...

Помнишь, на цветочном базаре мы покупали сердца:
они были голубыми и расцветали в воде.

Вдруг в нашей комнате закапал дождь,
пришел сосед, месье Ле Санж, печальный карлик,
мы сели играть с ним в карты, я проиграл зрачки,
ты одолжила мне волосы, я проиграл их,

он встал и вышел.

Дождь, как слуга последовал за ним.

Мы оба умерли, но мы могли дышать.

Конец лета

Кто проживет без утешения деревьев?

Как хорошо, что они умирают вместе с нами!
Персики собраны, сливы меняют окраску,
меж тем, как время шумит под аркой моста.

Последним птицам я вручаю свое отчаянье.
С каким достоинством они летят.
Их треугольник
просматривается сквозь листву,
движение крыльев обещает осень.

Это называется терпением.
Скоро и мы прочтем письмо на птичьем языке.
Под языком лежит холодный пфенниг.

Где я живу

Когда я открыл окно,
в комнату вплыли рыбы,
сельди. Казалось,
большая стая рыб проплыла мимо моего окна.
Кроме того рыбы резвились в саду под грушами.
Но, в большинстве своем,
они держались поближе к лесу,
там, где был карьер с гравием.
Это утомляло. Однако еще более досаждали
матросы
(также высоких рангов, штурмана, капитаны),
которые чуть ли не каждую секунду подходили к окну
и просили огня для своих трубок
с отвратительным табаком.
Я решил переехать.

Инвентаризация

Это — моя шапка,
это — мое пальто,
это — моя бритва
в холстяном мешке.

Консервная банка:
моя тарелка, мой кубок,
на ее блестящей жести
я нацарапал свои инициалы.

Я нацарапал их вот этим
драгоценным гвоздем,
который всегда прячу
от завистливых глаз.

В сумке для хлеба —
пара шерстяных носков
и еще кое-что, о чем
я не скажу никому,

на что я кладу по ночам
свою голову.
Папка для бумаг
лежит между мной и землей.

Графитовый стержень
мне особенно дорог:
днем он записывает стихи,
которые я придумал ночью.

Это — мой блокнот,
это — моя плащ-палатка,
это — мое полотенце,
это — моя иголка и нитки.

Длинные стихотворения

Нормы поведения

Скажите ему,
что он должен держать вилку в левой руке,
а нож — в правой.
Для одноруких — действительно.

Осторожность

Зацвели каштаны.
Я принимаю это к сведению,
но ничего при этом не говорю.

Твердая уверенность

Я знаю, что в Салониках
есть человек, который читал мои стихи,
и — в Бад Наухайме.
Итого — двое.

Оптика

Когда ослабевают зрение
мы подходим почти вплотную,
чтобы разглядеть лица друзей.

Мы надеваем очки,
пользуемся контактными линзами
и с удивлением замечаем

совсем близко
грязь
под ногтями наших врагов.

Топография прекрасного мира

Напрасны мечты о том,
что стоны праведников
приближают светлое будущее:
Берегитесь! вы, чей голос дрожит от умиления,
у кого радостно бьется сердце,
когда пытки прекращаются
на несколько минут раньше, чем обычно.

Будьте благословенны, кладбища!

Арьергард

Вставай, вставай!
Не время расслаживаться,
известие пришло до рассвета.

Пора собираться в дорогу, как другие.
Они оставляют пустые дома и спящие улицы
под защитой луны. Разве защитит их луна?

Когда мы пишем слова — безмолвие водит нашей рукой.
Влага испаряется из каналов,
и дорожные указатели вращаются, как флюгера.

Когда мы вспоминали о дорожных знаках любви,
узнаваемой в поверхности воды и в веянье снега!

Пойдем, пока мы не слепы!

Бедное воскресенье

Бедное воскресенье.
Торопливые стихи о том,
как облако дыма приобретает форму автобуса,
о поредевшей листве кленов,
о тайном свидании.

Бедное воскресенье.
Улицы окрашены в голубые тона,
на каждом углу — качели,
в музее Утешений
язвительно улыбающееся солнце
демонстрирует танцующую пыль.

Бедное воскресенье,
час торжества,
час отсутствия потаенных желаний,
в мертвом угле
все паруса подняты и с набухшими
сосцами — в здоровье.

Послание дождя

Слова, обращенные ко мне,
барабанят по шиферным и по кирпичным крышам
от дождя к дождю,
волочась,
как застаревшая болезнь,
контрабандный товар,
который не хочется иметь при себе —

С той стороны окна — звучащий подоконник,
пляшущие буквы соединяются в слова,
дождь говорит
на языке, который
понятен только мне —

Пораженный, я вслушиваюсь в его бормотание,
в котором отчетливо различаю
возгласы отчаянья,
проклятья, жалобы
и бесконечные упреки.
Всё это раздражает меня,
так как я не чувствую за собой никакой вины.

Тогда я громко говорю,
что не боюсь дождя,
что мне не страшны его угрозы
и, что в скором времени
я выйду на улицу, и мы поговорим с ним начистоту.

Эй!

Где загораются огни
прохожу я никем не видимый.
Ты ничего не узнаешь обо мне из писем
и в стихах меня — нет.

В последний раз быют часы
для вас, для всех.
Ты больше не встретишь меня,
пока я не позову.

Присутствие

В различные дни виденные мною
тополя Леопольдштрассе,
всегда осенние,
всегда в паутине тумана и солнца
или в паутине дождя.

Где ты, когда идешь со мной рядом?

Всё та же паутина прошлых времен
прежде и в будущем:
жизнь в пещерах,
эпоха троглодитов,
горький привкус колонн Гелиогабала
или отеля святого Морица.
Древние пещеры, бараки,
где начиналось наше счастье,
наше бедное счастье.

Пожатие твоей руки, которая мне отвечает,
архипелаг, цепь островов, наконец, песчаная отмель,
неуловимые очертания
сладоcти единения.

(Но ты ведь — в моей крови,
как эти камни возле садовой ограды,
как эти пожилые мужчины, отдыхающие на скамейках,
как шум трамвая, проходящего мимо,
как анемоны,
изнемогающие от тяжести капель
и влажности твоих губ —)
И снова эта паутина, которая нас опутывает,
невозможность присутствия,
умирающая любовь,
доказывающая случайность наших встреч,
поредевшая листва на тополях,
напоминающая о муниципалитете,
осень в канавах
и ответы на все вопросы любви.

Конец августа

Животами кверху плавают мертвые рыбы
между ряской и прибрежными камышами.
У ворон есть крылья, поэтому они не боятся смерти.
Порой мне кажется, что Бог
благоволит лишь к крошечной улитке.
Он мастерит ей дом. Нас он не любит.

Белые облака пыли тянутся вечером за автобусом,
везущим футбольную команду с соревнований домой.
Месяц запутался в ивовых кустах
в обнимку с вечерней звездой.
Бессмертие, ты где-то рядом, в межкрылье
летучих мышей,
в ярком свете прожекторов,
спускающихся с холма.

Предзимье

Забудь
о теплом молоке,
о первом снеге.
Формуляры не могут больше ждать.

Травяной газон — в бугорках кошачьих могил.
Моя дочь с нетерпением ждет зимы:
еще немного и она вырастет из своих коньков.
Почтовый ящик на входной двери стал вдруг
слишком велик.

По утрам я беру уроки игры на фортепьяно,
учиться музыке никогда не бывает поздно.
Улыбающийся крестьянин
идет по снегу, оставляя следы.

Рабочий кабинет

Ни одну из этих книг я уже не прочту.

Мне вспоминаются
письменный стол из бревен, оплетенных соломой,
книжные полки из необожженного кирпича.
Боль остается, даже когда образы уходят.

Я хотел бы закончить свою старость
в зеленых сумерках вина,
без разговоров. Есть из оловянных тарелок.

Взгляни на мой стол! Там, в тени —
желтеет старая карта Португалии.

«Я напишу еще одну строку...»

В киевском издательстве «Каяла» выходит новая книга поэта и переводчика, главного редактора международного литературного журнала «Крещатик» Бориса Марковского «Я напишу еще одну строку...» (Избранное).

Книга включает в себя не только стихи из разных сборников, но и поэму «Боричев ток», пьесу «ЛПП, или Синдром Жолуба», заметки из записных книжек, а также избранные переводы.

В предисловии к книге, изданной в Санкт-Петербурге в 2011 г. Андрей Коровин сравнивает поэзию Марковского со способом дышать. Если учитывать, что родившийся и проживший свои юные годы в Киеве, ставший свидетелем крушения одной из крупнейших империй XX века, переехавший в 1994-м году в Германию, Марковский эмигрировал «не от врагов..., а от души к тоске», то способ поэтического дыхания продиктован всем предыдущим опытом его жизни и опытом в эмиграции. Опыт в эмиграции — второй опыт человека, живущего вне Родины, а, значит, языка, в изоляции от бывших друзей, знакомых, родных. Такой человек практикует способ дыхания от расслабленного в Западном комфорте до прерывистого в усилиях интеграции. Это то, что касается обычного человека, который проглатывает все свои новоявленные комплексы в чуждой обстановке вжива-

ния в незнакомую жизнь. Он обязан с ними существовать почти что молча, так как часто не хватает языка, чтоб выразить все, что накопело. Но Марковский поэт и издатель, что, конечно, компенсирует его эмигрантскую изолированность. Кровопускание, облегчающее существование, происходит стихами:

Я напишу еще одну строку,
переверну еще одну страницу,
пересеку еще одну страну,
перечеркну еще одну границу

и женщину последнюю, одну
из тех, кого любил — навек покину,
вернусь домой, и прокляну чужбину,
и наконец услышу тишину.

Это стихи эмигранта, но наблюдается некая особенность: то, что присуще настоящему поэту. Его опыт как человека и стихотворца уже выходит за рамки просто земной жизни, в пределах чьих бы границ она ни существовала. Опыт двух жизней сливается в слове, трансформируясь в истины бесконечности, устремляясь к более высокому опыту души, более весомым границам, после пересечения которых начинается настоящая жизнь в своем истинном доме — доме души.

Марковский, на мой взгляд, один из самых значительных поэтов постсоветской эмиграции. Эта пронзительная тоска — не просто тоска эмигранта, а человека, остро чувствующего разрыв с настоящим своим домом — видимо, горним. В этом отношении его стихи близки

к стихам такого же скитальца Георгия Иванова. Недаром к сборнику «Постскриптум» эпиграфом взята цитата: «Смерть, как парус, шумит за кормой».

Поэтический строй души Марковского близок строю Анненского, Мандельштама, Тарковского. Неслучайно их имена возникают в книге, как и имена Блока, Пастернака, Цветаевой и т. д. Это тот культурный багаж, на котором строится поэзия и проза Марковского, но не заслоняет его собственного творческого лица — лица классического. В его стихах мало примет времени, но много примет души. Поэтому, мне кажется, даже через годы его поэзия не потеряет своей актуальности. Чувства, которые человек испытывает, остаются константой в веках и мало меняются даже в оттенках восприятия мира, времен года, городов, в проявлениях печали, тоски, неприкаянности, в размышлениях о прожитом и вечном, о дружбе и любви.

Когда мы читаем знаменитое стихотворение Анненского «Среди миров, в мерцании светил...», мы ощущаем его актуальность, идентичность с собственной душой. То же самое будет происходить с человеком, который прочтет через десятилетия строки:

Подожди, слова придут потом.
Нежность — удивительное слово.
Слишком поздно пересохшим ртом
«Я люблю тебя», — шепчу я снова.

Слишком поздно встретила ты мне.
Вот стою и вижу, как в тумане:
то ли свет горит в твоём окне,
то ли это — свет воспоминаний.

Борис Левит-Броун пишет о том, что Марковский «чудовищно живой». Видимо, потому что (цитируя того же автора) «его стихи не рассказ о боли, а сама боль».

Скорее, не эмигрант в чужую страну, а эмигрант в самого себя, Марковский часто говорит о смерти, через которую, в конечном итоге, у него происходит прозрение в бессмертие:

Как я живу — не спрашивай о том.
Стою себе, как обгоревший дом,
уже почти разрушенный ветрами...
Стою себе с обуглившимся ртом,
угаданный бессмертными словами.

*Наталия Лихтенфельд,
Берлин*

СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. Порудоминский. О книге Б. Марковского.....</i>	<i>5</i>
--	----------

I ПОЭЗИЯ

«Я напишу еще одну строку...».....	16
------------------------------------	----

Из сборника «В ТРЕХ ШАГАХ ОТ СНЕГОПАДА»

Случайные строфы

1. «Зима всю ночь рисует на стекле...».....	19
2. «Нам не хватает фауны и флоры...».....	20
3. «Здесь повсюду глыбы льда...».....	21
4. «Ветер. Снег. Светло и пусто...».....	22
5. «Ветер. Ночь. Забор. Качели...».....	23

Поэты

1. «Увы, никто не позовет...».....	24
2. «Друзья, прошу, не исчезайте...».....	25
3. «Иерархические бредни...».....	25
4. «Ветхозаветная картина...».....	25

Стансы

1. «Сентябрь сгорел наполовину...».....	26
2. «Казалось, жизнь давно прошла...».....	26
3. «Увы, не пастырь, не пастух...».....	27
4. «Я так скажу, лицом суров...».....	27
5. «Еще не там, уже не здесь...».....	27

«Три окна, четыре стены...»	19
«Похоже, осень за окном...»	20
«Дни бегут — не сберечь их!..»	31
«Каллиграфическая осень...»	32
«Неразбериха на столе...»	33
«Еще не сказанное слово.....»	16

Семья Марковских

1. «Семья Марковских в полном сборе...»	35
2. «Платье лимонное из крепдешина...»	36
3. «Осень, отстань!..»	37
4. Старые фотографии.....	38
5. «Брат мой, куда ты?..»	39
6. «Вот и двери состарились...»	40
7. «На задворках Европы...»	41
8. «Неподалеку — кладбище...»	42
9. «И если память мне не изменяет...»	43
10. «Когда уходят те, кого мы любим...»	44

Из сборника «ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ»

«День прожит без труда...»	47
----------------------------------	----

В конце пути

1. «Раздарил, растерял, не сберег...»	48
2. «Вдруг — тихий голос, шелест крыл...»	48
3. «Вернитесь, — я кричал, — куда вы?..»	49
«Разве ты — настоящий писатель?..»	50
Кафе «Мороженое»	51
«Снова снег заслонил тишину...»	52
«Мне больше не нужны слова...»	53
«Что за постыдная морока...»	54
«Не поможет ни райское пение...»	55

«Не пишешь, не пишешь, не пишешь...»	56
«Подарил колечко...»	57
«Снегопад, снегопад...»... ..	58

Из сборника
«ВРЕМЕНА ГОДА»

«Листая страницы...»	61
«Я у дороги выпрошу прощенье...»	62
«Учусь, беру уроки...»	63
«Эти давние запахи...»	64
«Вот, кажется, осилил ремесло...»	66
«Я поселю тебя в стихотворенье...»	67
«Давно так плодотворно не молчалось...»	68
«Прощай, распатанный покой...»	69
«Две параллельные прямые...»	70
«У судьбы неразборчивый почерк...»	71
«Здравствуй, юность моя безоглядная!..»	72
«Строки стремительная ересь...»	74
«Опять один, как ветер в поле...»	75
«Подожди, слова придут потом...»	76
«Прохладный белый звонкий лист...»	77
«Оттолкнусь от поручней рукой...»	78
Маяковский. <i>Отрывок</i>	79
Асфальт	81
Улицы	
1. «Я люблю бродить по старым улицам...»	82
2. «Был в Амстердаме и не зашел в музей Ван Гога...»	82
«Спасибо, что не пришла...»	83
«Жизнь проходит за разговорами...»	84
«Вот и некуда стало идти...»	85
«Нам остается только старость...»	86

Времена года	87
«Мой доверчивый палисад...»	88
«Я твоей тоски не понимаю...»	89

Берег

1. «Улыбнись — жизнь ушла безвозвратно...»	90
2. «И нежность в сердце утвердилась...»	90
«Никаких украшений...»	91
«Слагать стихи — нелепая забава...»	92
«Ночь непробудна, бездонна, тиха...»	93
«Я доволен жизнью своею...»	94
Лорелея	95
«Откажи себе во всё...»	96

Из сборника «DUM SPIRO SPERO»

«Как громко мы, молчим, как тихо спорим...»	99
«Жизнь вывернута наизнанку...»	100
«Я должен многое успеть...»	101
«А время старится, течет, струится...»	102
«На ипподроме — флаги...»	103
«Как строят дом, как разбивают сад...»	104
«Я болен. Осенью ли, прозой...»	105
«Пока дышу — надеюсь...»	106
«А осень безнадежно хороша!..»	107
«Искусства разветвленный ствол...»	108

Из сборника «ПОСТСКРИПТУМ»

«Каждый день — одно и то же...»	111
«“Крапива” — красивое слово...»	112
Мы завершаем жизни круг...»	113

Мне имени не вспомнить твоего

1. «Мне имени не вспомнить твоего...» I	114
2. «Мне имени не вспомнить твоего...» II	115
3. «Мне этот сон еще не раз приснится...»... ..	116
Поэт	117
«Две женщины за шахматной доской...»	118
«Я получил твое письмо...»	119
Памяти О.М.	120
«В траве ржавеют изумруды...»	121
«Стихи с немецкого перевожу...»	122
«Это — белая мгла, это — черная дрожь снегопада...»	123
«Тихо бреду мимо старой ограды...»	124

Из сборника
«СТИХИ НИ О ЧЕМ»

Ночь в Амстердаме.....	127
Сервантес.....	128
«Жизнь давно позади...»	129
«Снимали комнату в подвале...»	130
«Куда же ты?.. Купаясь в светотени...»	131
«Поэма о вечной печали»	132
«Уйти от праздных разговоров...»	133
Ламентации.....	134
«Я на финишной прямой...»	135
«Перерезал пуповину...»	136
«Не молчи, не молчи, разговаривай...»	137
«Как я живу — не спрашивай о том...»	138

Из сборника
«ЗМЕИНЫЙ КОРЕНЬ»

«Не до веселья мне, не до стихов...»	141
«Сгорает запад постепенно...»	142

Пригород

1. «Невзрачные дома, неровные заборы...»	143
2. «Здесь дом стоял, а там стоял сарай...»	143
3. «Кусты крапивы вдоль забора...»	144
«Одиночество — не помеха...»	145
«Многоугольное окно...»	146
«Скажи мне правду, друг-карабус...»	147
Памяти Мандельштама	148
Новогоднее	150
Курортный роман	151
«Сперва, уча язык фарерский...»	154
«В Коктебель приеду...»	155
«Проступая из тьмы законной...»	156
«Изолгалась, изверилась — из ада...»	157
«Прощай, просодия ветвей...»	158

II

ПОЭМА

Боричев Ток.....	161
------------------	-----

III

ПРОЗА

Черное солнце Мандельштама.....	205
«И реквиема медь...»	235

IV

ДРАМАТУРГИЯ

ЛПП, или Синдром Жолуба. Пьеса	273
--------------------------------------	-----

ПЕРЕВОДЫ

Из украинской поэзии

Евген ПЛУЖНИК

Галилей.....	297
--------------	-----

Из немецкой поэзии

Райнер Мария РИЛЬКЕ

В старом доме.....	323
На Малой Стране.....	324
Дворянский дом	325
У святого Вита.....	326
У капуцинов	327
Вигилии	
1. «На землю тихо сходит сон...»	328
2. «Когда б я мог соединить их...»	328
3. «Ночь теряет стрелы, щит...»	329
Когда наступает весна.....	330
«Вдали от города, один...»	331
В предместье	332
«Здесь воздух затхл, как в комнате больного...»	333
«Ночь залегла в глубинах парка...»	334
«Над белым замком хлопьев хоровод...»	335
Венеция, I	336
«Здесь, что ни день — один и тот же сон...»	337
«Чужими стали ваши плечи...»	338

Осень	339
«Я видел сон...»	340
Матери	341
Осенний день	342
Суровый час.....	343

Теодор ШТОРМ

Осень, I.....	304
---------------	-----

Георг ТРАКЛЬ

Лето	345
Джоанне.....	346

Альфред ЛИХТЕНШТЕЙН

Сумерки	348
---------------	-----

Фридрих ГЁЛЬДЕРЛИН

Дубовая роща	349
--------------------	-----

Христиан МОРГЕНШТЕРН

Парабола

1. «Ты знаком с фигурой полонеза...»	350
2. «Два твои зрачка взрывают полночь...»	350
3. «Я из породы птиц, и потому...»	351

Германн ГЕССЕ

Без передышки	352
На севере.....	353

В тумане	354
«Полночь бьет. Дорога гонит прочь...»	355
«Темнеет. У окрестных гор...»	356
Гавот	357
Элеонор	358

Пауль ЦЕЛАН

Песня в пустыне.....	360
Воспоминание о Франции.....	361

Гюнтер АЙХ

Конец лета	362
Где я живу.....	363
Инвентаризация	364
Длинные стихотворения	366
Оптика.....	367
Топография прекрасного мира	368
Арьергард	369
Бедное воскресенье	370
Послание дождя	371
Эй!.....	373
Присутствие	374
Конец августа	376
Предзимье	377
Рабочий кабинет.....	378
<i>Н.Лихтенфельд. «Я напишу еще одну строку...».</i>	379

**Борис
Марковский**

«Я НАПИШУ
ЕЩЕ ОДНУ СТРОКУ...»

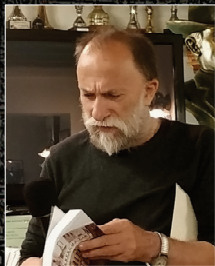
избранное

Директор издательства *Т. Ретивов*
Дизайн обложки *С. Пионтковский*
Оригинал-макет *Б. Марковский*

ИД№ 5016 от 24.11.2015 г.
Издательство «ФОП Тетяна Ретівов»
01001, г. Киев,
ул. Малая Житомирская 8, оф. 3
Тел. (+38) 096-53-85-115

Отдел продаж
Kayala@ukr.net

Формат 70х100 1/32.
Усл. печ. л. 16,5. Подписано в печать 29.08.2017
Печать офсетная. Заказ № 174



Борис МАРКОВСКИЙ

Поэт, переводчик. Родился в Киеве.

С 1994 г. живет в Германии.

В 2002 г. в издательстве «Алетейя» (СПб.) вышла книга стихов и переводов

«Пока дышу, надеюсь», в 2006 г. в том же издательстве — книга избранных стихов и переводов «В трех шагах от снегопада».

В 2011 г. — книга «Мне имени не вспомнить твоего».

В 2015 г. — «И кровь моя принадлежит листве...»

С 1998 г. — главный редактор международного литературного журнала «Крещатик».